
АНТОЛОГИЯ
КРУГ
3
МОСКВА—
ЛЕНИНГРАД.
1924.

Круг. Альманах артели писателей, книга 3

А. Успенский, Леонид Максимович Леонов, Исаак Эммануилович Бабель, Иван Сергеевич Рукавишников, Давид Яковлевич Айзман, Сергей Александрович Есенин, Сергей Антонович Клычков, Василий Фёдорович Наседкин, Ольга Дмитриевна Форш, Вячеслав Яковлевич Шишков, Василий Дмитриевич Александровский, Виталий Федорович, Георгий Аркадьевич Шенгели, Михаил Петрович Малишевский

Аннотация
Круг. Альманах артели писателей. Книга 3
А. Успенский. Переподготовка
Леонид Леонов. Гибель Егорушки
И. Бабель. Исусов грех
Иван Рукавишников. Сказ скомороший
Айзман. Их жизнь, их смерть

С. Есенин, С. Клычков, В. Наседкин. Стихи
Сергей Есенин. Отрывок из поэмы
Сергей Клычков. Сороки
В. Наседкин. Как изразцов персидских — синь…
Ольга Форш. Для базы
Вяч. Шишков. Черный час
В. Александровский. Цыганка
Вит. Федорович. Сказ о боге Кичаг и Федоре Козьмиче

Аннотация

Издательство Круг — артель писателей, организовавшаяся в Москве в 1922 г. В артели принимали участие почти исключительно «попутчики»: Всеволод Иванов, Л. Сейфуллина, Б. Пастернак, А. Аросев и др., а также (по меркам тех лет) явно буржуазные писатели: Е. Замятин, Б. Пильняк, И. Эренбург.

Артелью было организовано издательство с одноименным названием, занявшееся выпуском литературно-художественной русской и переводной литературы.

Круг. Альманах артели писателей
Книга 3

66
357

АЛЬМАНАХ

АРТЕЛИ ПИСАТЕЛЕЙ

Б01-16
1788

К Р У Г

III





„К Р У Г"
МОСКВА—ЛЕНИНГРАД
1924

А. Успенский
Переподготовка

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Предлагаемая читателю повесть А. Успенского «Переподготовка» является опытом художественной сатиры на некоторые стороны провинциальной жизни эпохи нашей революции. Как всякая сатира повесть А. Успенского построена на преднамеренном выделении одних черт и явлений и затенении других. Разумеется, октябрьская революция даже в глухой провинции не сводилась ни к торжеству комиссаров Лбовых, Молчальников и «беспартийных марксистов» Ижехерувимских, ни к «шкрабьему» житью-бытью. В конечном итоге в нашей провинции ход революции определялся диктатурой рабочего класса. Наша провинция вписала в великую книгу Октября свои героические страницы; иначе центр не одержал бы побед над врагами нового демоса. Но российский Головотяпск сплошь и рядом вносил в революцию и свое головотяпское, окуровское, гоголевское. В этой мере должны

быть общественно и художественно оправданы и признаны своевременными такие вещи как повесть А. Успенского.

I

Пред глазами уездные, привычные картины: пробежала собака, понюхала тумбу, фыркнула и продолжала свой путь дальше; изголодавшаяся корова протрусила к крестьянской телеге, набитой сеном, и на глазах у всех совершила тот поступок, который, пожалуй только коровам и сходит вполне безопасно; провезли пьяного лесничего после кутежа в трактирчике Фрумкина; прошел в щеголеватых зеркальных сапогах комиссар, направляясь, повидимому, по весьма важному делу; подрались две базарных торговки; остановился неподалеку с миловидной барышней комсомолец и, под впечатлением комсомольской пасхи, доказывал ей, что нет бога. Но выражение его глаз, лица говорило, что бог то для него есть и даже очень близко от него. Барышня это понимала, и щечки ее горели, и глаза струились.

Азбукин всегда умилялся, созерцая панораму своего родного города. Вот где Россия, матушка — Русь, думал он. Серая, грязная, а всетаки наша,

родная. Что значат перед ней большие города, с их гамом, возней и шумихой! А здесь — зеркало русской жизни.

Отсель грозить мы будем шведу,

исподволь в его уме — уме пушкиниста — возник пушкинский стих.

Помыслив обо всем этом, Азбукин сунул руку в карман пальто, но не затем, чтобы вынуть платок и высморкаться. Нет, носовых платков он давно уже не имел и сморкался демократическим способом, «по-русски». Азбукин сунул руку машинально. В кармане его пальцы нащупали бумагу, и тогда он вспомнил, что эту бумагу, полчаса назад, ткнул ему секретарь наробраза: — Прочитайте; вот вам удовольствие. — И, помолчав, добавил: — Но удовольствие ниже среднего, — вас собираются в переплет взять.

— Бывали мы в переплетах — ответил Азбукин, взял бумагу и опустил ее в карман, расчитывая внимательно прочесть наедине, дома. Потом последовала беседа с секретарем, даже с самим заведующим о введении в нормальное русло ученических кружков, которые покамест занимаются тем, что бьют окна во время уроков и устраивают такой шум, что заниматься невозможно.

Заведующий отделом, большой сторонник и насадитель кружков, сравнил подобное школьное явление с весенним половодьем, после которого вода всегда же сбывает, и Азбукин, сам ценивший поэтические образы, с этим согласился.

— Кружки развивают самодеятельность учащихся! — патетически воскликнул заведующий. — Они могут сделать, — понимаете-ли, — то, чего не сделать вам, педагогам.

Азбукин и с этим согласился, — самодеятельность он тоже ставил высоко. Но сразу же задал вопрос:

— На какие же средства вставить разбитые стекла? Не может ли отдел этого сделать?

Но отдел был беден, и заведующий был заданным вопросом приведен в некоторое смущение. Он даже призадумался. Лишь после его осенила счастливая мысль:

— Знаете, теперь весна… Так, ведь?

Заведующий при этих словах осклабился. Очевидно, слово «весна» вызывало у него представление не об одних только разбитых школьных стеклах, а и о предметах более приятных.

— За весной же последует лето, — продолжал заведующий. — Так ведь?

Он нарочно тянул, смаковал свою мысль, —

продлить наслаждение, — но Азбукин был нетерпелив и потому вставил:

— А за летом следует осень, потом — зима.

Лицо заведующего погасло.

— Не то, не то! Вы не так понимаете меня. Зачем же осень и зима? Ведь, теперь весна, а за весной — последует лето.

— Ну да, лето, — поддакнул Азбукин, желая попасть в тон начальству.

— А раз лето, то на что же стекла? — сказал заведующий.

Азбукин настолько был ошарашен мудростью заведующего, что язык у него не повернулся, чтобы заикнуться еще о чем-либо — о кружках, стеклах, об осени, зиме.

Выйдя из кабинета заведующего, Азбукин подошел к барышне-бухгалтерше, отличавшейся неприступностью.

— Как же насчет жалованья-то? — спросил он осторожно и ласково вместе.

— Насчет жалованья? — недовольно фыркнула крепость, — ишь чего захотели!

— Да я думал... — еще более ласково и приветливо продолжал Азбукин.

— Вот и не думайте, — еще более грозно надвинулась крепость.

— Да я не буду… извините, — совсем уже сдаваясь, пролепетал Азбукин.

— Жалованье вы получите на следующей неделе.

— А сколько? — полюбопытствовал осмелевший Азбукин.

— По рассчету 160 миллионов в месяц. Вероятно, ячменем.

— Да, ведь, это же мало. Ведь, самый последний служащий больше получает. Ведь, сторож исполкома больше получает…

— А вы — шкраб, — неожиданно сурово хлопнула крепость, — тоже захотели!

Тут только, Азбукин, понял всю неуместность своей горделивой попытки сравнять себя со сторожем исполкома и — умолк.

Что-ж, верно, шкраб, — горько подумал он. — Ведь, «сторож» звучит гордо, — его можно даже переделать в величавое: страж. Кстати, вспомнился стих Пушкина:

> — *Маститый страж страны державной.*

А шкраб? И звучит-то даже не по-человечески, а напоминает какое-то животное, не то ползающее по земле, не то живущее в воде. Животного этого

Азбукин никак не мог досконально припомнить, не взирая на все потуги, потому что в естествоведении был слаб.

Пробыв в задумчивости несколько более четверти часа (тут он, не желая того, сопоставил себя с Сократом, который мог целые сутки пробыть в этом состоянии), Азбукин решил выйти из отдела. А на улице его ждало солнце, такое ласковое. Теперь, вытаскивая бумагу из кармана и припомнив все, что пришлось ему пережить в отделе, Азбукин всю свою нежность перенес на солнышко, которое не строило каверз, как секретарь отдела, не важничало, как заведующий, и не открывало и не захлопывало ворот, как неприступная крепость.

— Милое, — с чувством помыслил о дневном светиле Азбукин, оно одинаково проливает благодать и на сторожа исполкома, и на несчастного шкраба. Если бы люди брали с него пример!

Той порой он окончательно извлек из кармана бумагу и начал читать.

По мере чтения, глаза Азбукина расширялись, и интерес к читаемому настолько усилился, что он даже и не заметил, как кое-кто из прохожих, тут же рядом несколько раз чихнул. А обыкновенно он не упускал случая, если кто-нибудь

по близости от него чихал, вежливо пожелать: будьте здоровы.

Бумага была циркуляром о переподготовке учителей. Она озадачила, ошеломила Азбукина.

Чтобы придти в себя, Азбукин по складам, водя пальцем, прочел ее заглавие:

ГОЛОВОТЯПСК.

Головотяпскому Уоно

И тоже по складам, только с большим почтением, повернув бумагу на бок, прочитал резолюцию своего заведующего уоно:

исполнить

Азбукин давно привык к субординации, и начальнические слова теперь для него так же выразительно и ярко горели на бумаге, присланной из губоно, как радуга горит, сквозит и млеет на покрытом тучами небе.

Раз исполнить — значит дело свято. — Да и какой же я дурак, — в мыслях обругал он себя, — разве можно не исполнять повелений высшего начальства, — губоно? Так, значит надо!

И Азбукин принялся внимательно читать цир-

куляр. Губернский отдел народного образования извещал, что он высылает несколько равновеликих по духу (да, там было употреблено такое звучное выражение) библиотек для прочтения их шкрабами Головотяпского уезда за летние каникулы.

Азбукин пробежал заглавия книг. Их было 13. Тринадцать, — суеверно испугался Азбукин. Постепенно, однако, испуг его из мистического перешел в рассудочный. Эти 13 книг надо прочесть летом, когда шкрабам и законом и традицией полагается отдыхать от школы, от своих любезных воспитанников, от их самоуправления, кружков, разбитых стекол исписанных стен и т. д. А тут вместо отдыха, на! Положим, книжки-то не особенно увесистые, — одну Азбукин даже просматривал как-то, но всетаки.

Азбукин стал было уже успокаиваться, прибегнув к обычно, успокаивавшей его думе: и не такая еще беда может приключиться с людьми. Но в это время запущенная в тот же карман рука нашарила там… опять лист бумаги. На листе был обозначен тот же адрес, что и ранее, и та же начальственная надпись заведующего уоно:

исполнить

И трактовал этот лист тоже о переподготовке. Перечислялись здесь книги, которые Азбукин должен был изучить вслед за 13-ю и обнаружить знакомство с ними на осенних испытаниях. Это были: книга Меймана и других авторов.

II

Погруженный в уныние, Азбукин и не заметил, как к нему подошел служащий финотдела Налогов. Налогов был одет в добропорядочное демисезонное пальто. На голове его была шляпа, подобная тем, которые в прошлом году к празднику Интернационала получили все головотяпские комиссары. На ногах у Налогова были ботинки, но не женские, а мужские, и на ботинках лаком отливали новые галоши. В руках Налогов держал портфель, запиравшийся даже на ключ.

— Голопуп, — раздалось над самым ухом шкраба.

— А-а! Это ты! — воскликнул Азбукин и глубоко поджал под себя теткины ботинки, мешковато и неловко посторонившиеся ослепительно сиявших галош подошедшего.

Налогов был товарищем Азбукина по школе. Они вместе учились в городском училище и вместе окончили одногодичные педагогические

курсы. Но Налогов не пожелал быть учителем — наставлять «всякое дубье», и начал служить в казначействе.

Одной из существенных черт Налогова была его любовь врать, и — в это вранье, в эту ложь он крепко затем верил. Его прижимали к стене, уличали, но он всегда настаивал на своем, да так твердо, так божился, что споривше с ним не знали, что и думать: такой невероятный факт! Во время европейской войны, приехав с фронта, Налогов рассказывал неслыханное о своей отваге: выходило, что он с ротой задерживал неприятельский корпус. В начале революции он рассказывал, что был избран комиссаром энской армии, часто встречался и разговаривал за-панибрата с Керенским, и Керенский, обыкновенно, соглашался с ним. — Вы, Александр Федорович, не знаете нашего солдата, — предоставьте это нам, проведшим с ним целые годы на фронте в окопах. — Я, Андрей Иванович, всецело на вас полагаюсь, — отвечал Керенский, — за вами фронт, как за каменной стеной.

После октябрьского переворота, сильно перетасовавшего людей, оба товарища крепко держались насиженных мест: Азбукин — школы, а Налогов — уфинотдела. До пришествия нэпа

дела у них шли почти одинаково.

— Дохлое, брат, твое дело! — встречая Азбукина, язвил его Налогов.

— А твое разве не дохлое? — не без той же занозы возражал ему Азбукин, отхвативший три лета босиком по улицам Головотяпска, по целым неделям не видавший хлеба и питавшийся одной картошкой.

— Хорошо, вон, в милиции, в военкоме: там пайки честь-честью, — заявлял Налогов, кушавший в самое голодное время хлеб (и даже без примеси льняного семени). Босиком Налогов совсем не ходил: летом носил сандалии, — а зимой ходил больше в валенках. Обзавелся он также костюмом из домотканного крестьянского сукна и дубленым полушубком, а также хорошие одежды припрятал в места, хотя и не отдаленные, но надежные.

Налогов искренне считал себя за интеллигента. После октябрьской революции, среди интеллигенции стало модным ходить в церковь, а в губернском городе даже два доктора и один инженер приняли священный сан. Налогов охотно принялся за обиванье папертей церкви, куда раньше заглядывал чрезвычайно редко. — Мы, интеллигенты за бога, — распинался он на цер-

ковных собраниях, и головотяпские мещане прониклись уважением к Налогову настолько, что избрали его в церковный совет.

— Равенство, — говорил Азбукин с достоинством. — Голодаем, но все. Поголодаем, зато после будет лучше, — нашим детям, скажем.

Практичный Налогов, угощая его самогонкой, попрекал и укорял его не однажды:

— Брось ты слюни разводить! Жри.

С нэпом шкрабьи дела нисколько не улучшились. Правда, возникла как будто надежда на родителей. Но родители в школьном деле продолжали держаться — так было куда выгоднее — принципов военного коммунизма.

Той порой дела Налогова явно поправились.

Положение служащих уфинотдела с каждым днем улучшалось. Первым подарком нэпа было ниспослание сверхурочных, — оттого-то в помещении уфинотдела приветливо-туманно переливалось в сумерках электричество, при свете которого уфинотдельские барышни выглядели еще привлекательнее, чем днем. Вторым даром неба были премиальные. После него уфинотдельские барышни стали даже замуж выходить.

После этих-то сверхурочных и премиальных и ожил Налогов и постепенно совлек с себя одеяние

эпохи военного коммунизма и облекся в старорежимную, извлеченную из-под спуда, одежду.

— Что это ты, Степа, на Пасхе не зашел? А? — укоризненно проговорил Налогов, отталкивая камешек блестящей галошей. — Да и вообще тебя не видно. Пойдем-ка ко мне сейчас.

Азбукин не отказывался. Ему хотелось в дружеской беседе хоть немного согнать с души своей грусть, навеянную разговором в отделе и бумагою, и думами о переподготовке. Шкраб зашагал рядом с Налоговым, и его ежившаяся щуплая фигурка, на фоне плотного и жизнерадостного Налогова, напоминала тот скелет, который в древнем Египте вносили в разгар пира, чтобы пирующие вспомнили о смерти.

Когда приятели огибали трактирчик Фрумкина, над дверьми которого провозглашала вывеска: — Вина русские и заграничные, — Налогов многозначительно подтолкнул Азбукина:

— А не зайти ли предварительно сюда? Только что получил премиальные.

— Нет, что ты, нет уж, едва ли не шарахнулся от него Азбукин. — Я тогда уж лучше домой пойду.

— Я пошутил, — рассмеялся Налогов. — А ты, брат, попрежнему скромник, — насчет трактиров ни-ни.

Азбукин, точно, никогда не любил трактиров. Не то, чтобы он не выпивал. Нет, он выпивал, выпивал один и за дружеской беседой в маленькой компании, не отказывался. Он помнил, что сам Сократ любил такие дружеские пирушки. Но трактир! Там много посторонних людей, много шуму, ссорятся пьяные, а шкрабья душа Азбукина была нежна и впечатлительна, как вечерняя звезда. Бог с ними уж, с трактирами-то, решил он раз-навсегда.

— Парикмахеришкой Фрумкин-то, помнишь, был? — указывая на вывеску, говорил Налогов, — небось и ты у него стригся.

— Нет, — сумрачно ответил Азбукин. — Меня тетка стрижет. Только, говорит, лишние расходы на этих парикмахеров.

— Тек, тек, — осудил Налогов.

Во дворе Налогова, когда туда вошли приятели, у самого крыльца, очевидно, ожидая корма, стояла корова.

Налогов провел рукой по ее широкому лбу и любовно почмокал:

— Маша! Ма-а-шенька!

Шкраб, желая оказать внимание хозяину, тоже попробовал погладить Машу. Но оттого-ли, что корове не понравился шкрабий запах, —

Азбукин часто спал не раздеваясь, — или еще почему-либо, животное резко закрутило головой, и несчастный шкраб легко почувствовал коровьи рога в кармане.

— Пошла прочь! — замахал на корову портфелем Налогов и с участием спросил: — Не ушибла-ли тебя эта дрянь? Ну, а за карман не беспокойся, Соня зашьет!

— Ничего, тетка зашьет, — сказал Азбукин и тут же в уме запнулся: дома ниток нет.

Так как супруги Налогова не было дома, — она служила машинисткой в комхозе и не вернулась еще со службы, — Налогов сам быстро соорудил закуску. Появилась селедка, аппетитно переложенная калачиками лука, и кусок ветчины.

— Сначала я тебя деликатесами, — сказал Налогов, наливая рюмку и подвигая ее Азбукину. Азбукин выпил.

— Каково? а?

— Виноградное? — ответил Азбукин вопросом, выражавшим почтение к напитку.

— Изюмное! — торжествующе произнес Налогов. — В Клюквине работают, да как отлично! 50 лимонов бутылка! А теперь, — тут Налогов взял маленькую рюмочку и осторожно нацедил в нее из другой бутылки.

Азбукин выпил.

— Ну, а это?

Азбукин, вместо ответа, только смотрел на приятеля вопрошающими глазами: в винах он мало понимал.

— Ликер! Наш самодельный клюквенный ликер, — умильно поглаживая бутылку, пояснил Налогов. — 70 лимонов бутылочка-то! Вот, говорят, не изобретатели мы. Да мы, брат Степа, всех Эдиссонов за пояс заткнем.

— Да это не мы, — возразил Азбукин. — В Клюквине-то евреи.

— Положим, — не нашелся, что возразить Налогов и налил Азбукину рюмку светлой, непахнущей жидкости.

Когда Азбукин выпил, у него сильно обожгло горло и слезы навернулись на глаза.

— Что это у тебя, — спросил он уже сам, поскорее закусывая селедкой.

— На сей раз — мы, мы, — восторженно промычал Налогов. — Самодельный спирт! Семьдесят градусов. Без запаху. Из пшеничной муки. Знакомый мельник уступил.

Азбукин проглотил еще несколько рюмок самодельного спирта, надеясь, что светлая, обжигающая горло, жидкость сожжет и скверное его

настроение.

— Как же ты живешь? — дружески спросил Налогов, наливая ему последнюю рюмку и отодвигая бутылку: с остатками светлой жидкости у него были связаны еще кое-какие расчеты.

— Живу. По-прежнему.

— Сколько жалованья? — в корень взглянул Налогов.

— 160 миллионов на бумаге, а на деле ничего. Дадут, а когда дадут? Говорят, ячменем предлагают.

— Скверно.

— Что и толковать, скверно, — возбудился вдруг Азбукин. — В доме ничего нет, кроме картошки, да и обносился как! Тетка поедом ест. Говорит: вон другие-то как живут. И верно, брат: раньше, если и голодали, так все.

Налогов приумолк. От природы он был наделен добрым сердцем, а в словах Азбукина звучала неприкрашенная тяжелая нужда.

— Придумали, придумали! — закричал он через секунду. — Ты поешь? Да, помню, ты поешь. Еще баритоном.

— Тенором, — поправил Азбукин.

— Пусть тенором. Так вот, видишь-ли… Я теперь член церковного совета, чуть-чуть не церковный

староста. У нас хорик есть. По праздникам-то тово… поет. Хочешь в хор поступить? Платим.

— Да ведь хор-то поет в церкви, — осторожно возразил Азбукин, — а я, школьный работник. Неудобно.

— Это ничего, — весело вынесся навстречу Налогов, — у нас не просто церковь, а живая и даже древнеапостольская. У нас о. Сергей такую проповедь вчера закатил, что и на митинге не услышишь.

— Все-таки церковь… — кратко и грустно возразил Азбукин.

— Да, понимаешь-ли, платят в хоре-то.

— Сколько же? — с некоторым любопытством спросил Азбукин.

— 20 фунтов хлеба человеку в месяц.

— Мало. Пойдешь к вам за полпуда петь, а той порой из школы выгонят. У нас антирелигиозная пропаганда.

Это возражение немного обезкуражило Налогова. Он снова приумолк. Приумолк и Азбукин.

— У нас, брат, переподготовка, — нарушил молчание Азбукин.

— А это что за штука, — суховато, даже с некоторой обидой в голосе, спросил Налогов.

— А это, брат, есть такая книга — Меймана, — по

педагогике. Что твоя библия. Так вот всего таких 30 книг надо перечитать.

— Значит, сверхурочные занятия, — совсем уж позабыв обиду и радуясь за товарища, потряс десницей Налогов. — За это заплатят, обязательно заплатят. И в хор не надо поступать. А сколько времени, приблизительно, в день придется сидеть над книгами?

— Да целый день, — недовольно буркнул Азбукин, не понимая веселого настроения своего приятеля.

— Ну, такие занятия — преддверие большого жалованья. То-то у нас в уфинотделе упорно ходят слухи: скоро шкрабам будет хорошо, шкрабы будут самые первые люди, шкрабов приравняют к категории рабочих, получающих наиболее высокую заработную плату. Поздравляю тебя, Степа. Ты, брат, не хуже нас, уфинотдельцев, будешь жить. На что тебе картошка? Плюнь ты на нее. Без жареного и за стол не садись.

— Ты это серьезно? Не шутишь? — спрашивал недоумевающий Азбукин.

— Да за это же здравый смысл, логика говорят. Раз такая переподготовка, то ясно…

Налогов так авторитетно упомянул о логике, что Азбукин невольно поддался гипнозу его

слов.

— Неужели, правда, Андрюша, — оживился Азбукин, уже уверенный в том, что это правда.

— Да правда же, правда.

— А сколько я получу тогда?

Налогов мысленно высчитал.

— У нас, видишь-ли, своя переподготовка была, когда налоги увеличили. Нам здорово тогда прибавили. Ежели такая переподготовка, я думаю полтора миллиарда в месяц.

— Полтора миллиарда! — изумился Азбукин. — Да я корову куплю в первый же месяц. Свое молоко, творог, сметана.

— Обязательно корову, — поддержал друга Налогов. — Я к тебе молоко приду пить. Купи семментальской породы, как моя. С телу два ведра дает.

— Я бы холмогорской купил, — мечтательно покачнулся на стуле Азбукин.

— Холмогорская тоже хороша. Потом возьми в библиотеке книжку «Корова» Алтухова. Эту уже сверх 30 библий придется прочитать. Потом, знаешь что, Степа, заведи пчел.

— О пчелах-то я и не думал, — стыдливо сознался Азбукин.

— Пчелы при современном сахарном кризи-

се, — легко взбодрил его Налогов, — сущий клад. Достаточно двух ульев, и сахарного вопроса в нашем домашнем бюджете как не бывало. Я решил купить два улья, да ты два. А приборы вместе. Согласен?

— Согласен, — совсем расцвел Азбукин. — При полутора миллиардах можно. Потом, — добавил он деловито, — обязательно мне нужно новый костюм сшить. Хотел деревенского холста купить, да покрасить.

— Зачем холсты. При полуторах-то миллиардах холста. Да ты сукна купишь. Недавно тут на базаре продавали чудеснейшее сукно по 100 миллионов аршин. Оказалось, правда, после ворованное.

— На ворованное редко попадешь, — усумнился Азбукин.

— Отчего? Цифры, статистика все определяют. Теперь возросло число безработных, следовательно, возрасло число краж. Известный процент их падает на сукно.

Налогов немного помолчал.

— Если на ворованное не попадешь, — продолжал он, — то латышское сукно всегда легко купить. А как хорошо мерзавцы ткут. Прямо от фабричного не отличишь. Сшей из латышского,

не дорого.

— Это уже в третий месяц, — решил вслух Азбукин. — В первый — корова, во второй — пчелы, в третий — костюм.

— Вот тебе и переподготовка! — радостно воскликнул Налогов. — За три месяца три жизненных вопроса как со счетов долой: молочный, сахарный и костюмный. Да за такую переподготовку бога надо благодарить. Я бы на твоем месте у нашего о. Сергея молебен благодарственный отслужил.

— Ну молебен-то, положим… — пробормотал Азбукин. — Еще не получил. Да и что такое молебен, — продолжал он с ударением на слове «молебен», вспомнив антирелигиозные статьи, прочитанные в журнале «Безбожник». — Старый хлам.

В это время вошла только что возвратившаяся со службы в комхозе жена Налогова. Печать недовольства и волнения, которые она старалась скрыть, виднелась на ее лице.

— Сонечка! У Степы переподготовка, — закричал ей Налогов.

— Это еще что такое? — спросила Софья Петровна, машинально поправляя прическу и под приветливой улыбкой желая поглубже спрятать

недовольство.

— Это значит, что полтора миллиарда в месяц будет получать.

— Полтора миллиарда в месяц, — пораженная несколько даже отступила назад Софья Петровна. — Поздравляю. А у нас в комхозе, представьте, вместо жалованья предлагают ячмень, изъеденный крысами, и ставят на 5 миллионов дороже за пуд, чем он стоит на базаре.

— И нам тоже, — вспомнил Азбукин.

— И неужели вы будете брать?

— Не знаю, — сказал Азбукин. — Вероятно придется.

— Безобразие! — воскликнула Софья Петровна.

— Не волнуйся, милая, — успокаивающе произнес Налогов, опасавшийся, что дело из небольшой неприятности разовьется в крупную. — Ничего не поделаешь: ячмень — так ячмень. Хоть бы что-нибудь получить. Это мы, в уфинотделе, около денег ходим, так легко их и получить. А на всех где же достать? Ячмень — так ячмень.

— Да он же крысами изъеден.

— Ну, у нас свиньи доедят. Лишнего поросенка пустим в зиму.

— Я и поросенка твоего есть не буду, — проговорила, сдаваясь Софья Петровна.

— Продадим, если не будешь — только и дела, — совсем успокоил ее Налогов.

После этого разговор принял мирный характер. Вращался он вокруг своей оси — переподготовки, от которой ожидали столько благ для Азбукина. Софья Петровна угостила приятелей таким обедом, какого шкраб давненько уже не едал. И у хозяйки совершенно исчез отпечаток недовольства вызванный ячменем, изъеденным крысами, а победительница — улыбка свидетельствовала, что и супруга согласна будет кушать поросенка, которого хочет вскармливать супруг.

III

В самом радужном настроении Азбукин вышел из дому Налогова. Мир и предвечерняя тишина и радость разлиты были в природе. Солнце, пред тем как спуститься к горизонту, припекло, будто хозяйка в простом, не знающем тона доме, которая наливает тарелку полным-полно, и на лице ее написано: кушайте, нам не жалко: на всех хватит. Над городским садом с криком носились вороны, наевшиеся ячменя, рассыпанного на площади головотяпскими служащими, получавшими его вместо жалованья. Городской сад пока еще ничем не отделялся от окружавшей его пло-

щади. Каждый год пред празднованием 1-го мая, сооружали вокруг него частокол, и он целое лето был окружен им, как женское личико вуалью. Но приходила зима, — вуаль становилась ненужной, и граждане Головотяпска разбирали частокол на топливо. В минувшем году ставил частокол около сада, на основе профессиональной дисциплины, головотяпский союз работников просвещения. Ездили в лес за кольями, втыкали, прибивали гвоздями, отпущенными под рубрикой: еще на агитационную пропаганду.

Единственным остатком, уцелевшим от окружавшего когда-то, еще до революции, сад забора, пережившим все краткосрочные частоколы, были двери, на которых вопреки старому правописанию, глазатилось:

Просят затворять двѣри

подобно тому, как над зданием уисполкома, уже вопреки новому правописанию, прибита была доска с надписью:

Призидиум уисполкома

В саду меланхолически бродили три козы.

Из сада Азбукин выбрался на площадь Голо-

вотяпска, половина которой была вымощена, а другая — не мощеная. Он шел по самому краю каменного берега. Перед Азбукиным тянулся ряд лавочек и лавченок, ядреных, крепко сколоченных: дружно сплотившихся, словно это не лавченки были, а молодые грибы, вылезшие на божий свет после теплого дождика, а против них молчаливо возвышалась красная трибуна.

За рядами лавченок воздвигались головотяпские церкви: крыши выцвели, стены посерели. Впрочем, головотяпские попы на радостях вздумали было преподавать закон божий, за что неделю отсидели в головотяпской тюрьме. Рассказывали, что когда заключен был под стражу о. Сергей, после тюрьмы вступивший в древнеапостольскую церковь и сделавшийся даже ее главою в Головотяпске, то случайно на улице встретились две его жены — законная и посторонняя — и при встрече трогательно расплакались.

Эх, Головотяпск, Головотяпск! Найдется ли еще где-нибудь в нашей республике такой город? Найдутся ли где такие ораторы, которые в 1923 г. с большим пафосом произносят речи, заученные ими еще в 1918 г. — точно тот священник, который, привыкнув читать проповеди по книжке, громил казенные винные лавки, когда они уже

были закрыты. Найдется-ли где еще город, где кое-кто из коммунистов тайно венчался в церкви со своей подругой жизни, а некоторые даже шли на исповедь к о. Сергею и каялись в содеянных ими грехах. Найдется ли еще где такой предуисполкома, который, уже при нэпе, когда ему указали на несоответствие его распоряжений декрету Совета Народных Комиссаров, подписанному Лениным, спокойно ответил:

— Что-ж, Ленин в Москве, а я в Головотяпске!

Обретется ли еще где город, где в комиссии по проведению недели бесприютного ребенка предлагаются такие героические средства: останавливать каждого прохожего на головотяпском мосту и требовать от него, на основании постановления уисполкома: 3 миллиона.

И бывало ли еще где, чтобы в первомайские торжества для усиления праздничного настроения так взрывали бомбу, что во всех домах, примыкавших к Головотяпе, куда была брошена бомба, были вырваны стекла. Найдется ли еще где такое разливанное море самогонки, — самодержавной владычицы граждан Головотяпска?

Идет по улице Головотяпска гражданин так же одетый, как и большинство граждан республики — зимой в тулуп, а летом во что придется,

а понаблюдайте за ним и увидите, что это не просто гражданин, а настоящий тип. Опишите его, — тут и воображения совсем почти не потребуется, только опишите, — и, кто знает, может быть, вы и славу приобретете. Найдется ли еще где-либо поле, более удобное для приобретения литературного таланта? Недаром и доморощенные поэты не переводятся в Головотяпске. Один из них такие частушки сочиняет для местного теревьюма (театр революционного юмора), что головотяпские ценители искусства хохочут до икоты, и слышатся возгласы одобрения: а здорово саданул, ах, сукин сын. И еще более ядреные, которые можно только произносить, но писать исстари не принято. Головотяпский отдел образования поддерживает теревьюм и морально и материально, усматривая в нем насаждение пролетарского искусства.

Эх, Головотяпск! Головотяпск! высушить бы всю грязь, в которой постоянно купаешься ты, как свинья в поганой луже; очистить бы тебя, приубрать, приукрасить; приобщить бы тебя к радости новой, разумной и прекрасной столь тебе чуждой.

Азбукин, между тем, прошел к зданию исполкома. У самых входных дверей виднелись обрывки

анонса о комсомольской пасхе, отслуженной в зале исполкома: остался только верх объявления с рисунком, изображающим красноносого попа над пустым гробом и надписью —

Несть божьих зде телес:
Христос воскрес,

и низ, где было крупными буквами написано

кто сорвет это об'явление, понесет наказание
за конт-революционное деяние

На углу в витрине Азбукин прочел:

30 апреля 1923 г. в здании головотяпского нардома состоится конгресс союза коммунистической молодежи, на котором выступят представители Польши и Чехо-Словакии.

Рядом с объявлением о конгрессе примостилась маленькая красная четвертушка о праздновании дня 1-го мая. Здесь предписывалось всем гражданам убрать свои жилища зеленью и не какими-нибудь тряпками, а настоящими флагами.

За неисполнение предписания угрожал штраф 30 р. золотом. Кроме того, жителям некоторых районов предлагалось собственными силами соорудить несколько арок. Арка приходилась и на район, где жил Азбукин. Опять придет со сбором пожертвований уличком, а где я возьму, подумал шкраб, поскреб в затылке, и настроение, поднявшееся в доме Налогова, слегка омрачилось.

Впрочем, скоро ряд иных явлений отвлек внимание Азбукина от досадного объявления: навстречу ему бежало, одна за другой, с десяток собак, справлявших деловито и серьезно свою собачью свадьбу, — без лишнего шуму и гаму.

На крестнях — так именуется в Головотяпске перекресток — сошлись два петуха: рыжий и белый. Сражались они с таким остервенением, что ребятишки, бросив играть в бабки, с большим любопытством следили за петухами. Рыжий торжествовал: он загнал белого в выбоину, нагнул ему голову и мешковато тыкал в грязь.

Азбукин от природы был мирного склада и задержался перед петухами столько, сколько требуется для всякого, даже самого идеального человека, потому что и идеальный человек есть человек же, и на нем лежит отпечаток человеческого, и если запнулось несколько человек перед

дерущейся птицей, то идеальный человек тоже, хоть несколько минут, но постоит.

На дальнейшем пути Азбукин встретил головотяпского военного комиссара. У этого комиссара было старое, привычное выражение лица и совсем непривычная, новая одежда. Одет он был, как главнокомандующий армиями. Однако, одежда на военкоме отчасти была и не совсем нова для обывателей Головотяпска. У военкома была жена, выражение лица которой было столь же простовато и благодушно, сколь хитро у мужа. И задолго еще до появления военкома на улицах Головотяпска в новой щегольской шинели, уже многие от его супруги узнали, что военком шьет себе новую шинель в самом губернском городе, а ежели переведен будет с повышением в губернский город, то сошьет себе шинель, вероятно, уж, в Москве.

И не заметил Азбукин, как очутился перед домиком Семена Парфеныча. Войти или нет — помыслил шкраб в некотором колебании. Войти, обязательно войти, подстрекнул его внутренний голос, говоривший от имени сытного обеда, изюмного вина, ликера, переподготовки, сулившей корову, костюм, пчел; от имени тех светлых надежд, которыми всегда окружено будущее.

Сапожника Азбукин застал в не совсем удобном положении: он, с аршином в руке, вылезал из-под кровати. Красный, с взлохмаченными волосами, с недовольным лицом, Семен Парфеныч являл собой такой вид, что Азбукин даже попятился и стеснительно кашлянул.

— Что-ж такое, Азбукин, дальше-то будет? До чего мы дожили.

Азбукин, решив, что под кроватью случилось несчастье, сочувственно — вздохнул.

— Меряю, вишь ты, дом собственный меряю, — потрясая аршином перед шкрабьим носом, волновался сапожник.

Азбукин, успокоившись, счел необходимым пояснить:

— Это для квартирного налога требуется.

— Опять налог? — судорожно передернулся испугавшийся Семен Парфеныч. — Нам ничего про это не говорили. Сказали: смеряй квартиру — и все. А ты откуда знаешь? Ты, брат, тово… тут ходили, переписывали… так ты тово… может тоже переписывать пришел?

— Это всероссийская городская перепись, — дополнил Азбукин, не смущаясь. — Я не попал в переписчики, — опоздал. А пришел я за сапогами. — Произнес последние слова Азбукин с

интимной улыбкой и особенно ласковым тоном.

— Не готовы, брат, Азбукин, — как бы извиняясь, проговорил Семен Парфеныч, вспомнив, что шкраб уже много раз приходил за обувью. — То то, то другое. Вишь ты, какие комиссару Губову сшил. А? А вот башмаки жене Фрумкина. Царица только раньше носила такие.

— Скоро и я вас попрошу сшить мне новые сапоги, — весело заметил Азбукин, поглядывая на комиссаровские сапоги. — Нам жалованья прибавят.

— Это хорошо, хорошо, — согласился Семен Парфеныч. — Сошью. А много прибавят?

— Полтора миллиарда будут платить. Налогов так сказал. Знаете, Налогова?

— Ну, как же не знать. Полтора миллиарда — не фунт изюма. Дай-ка мне полтора миллиарда, разве я стал бы со всей этой грязью возиться. Так-то Азбукин. Значит, наука опять в ход пошла. Выплыло масло на воду.

И Азбукин улавливает в глазах Семена Парфеныча признаки растущего к нему уважения.

По окончании оффициальной части разговора начинается неоффициальная.

— Ну, что нового в газетах, — спрашивает Семен Парфеныч.

— Да ничего особенного.

— А у нас, ты слышал, — сообщает сапожник, — тут недалеко по улице человек спит. Вот уж восемь суток.

— Восемь суток, — ахает Азбукин. — Да отчего это?

Видишь, дорогой мой, — голос Семена Парфеныча делается и грустным и покорным вместе. — Новая болезнь, никогда еще небывалая. Божье наказанье. Помнишь, в священном писании сказано: все это начало болезней. А потом известно, что будет: конец света.

Неподдельной грустью веет от этого вышколенного суровой жизнью человека, покорностью перед судьбою, которая, точно кошка с мышкой, шутит с человеком, забывая, что ей игрушки, а мышке слезки. Дунет своим болезнетворным дыханием, и где ты Азбукин! Если бы Семен Парфеныч был поэтом, то, возможно, он, передал бы в соответствующих изящных выражениях благородное чувство мировой скорби, овладевшее им. Но и без этих выражений Азбукин ясно почувствовал, как от сапожника неудалимым током вошло в него сейчас грустное настроение и смыло радость.

— А еще, брат ты мой, не слышал, — тут случай

с одним мужиком вышел по дороге в губернию, — продолжает Семен Парфеныч. — Вот ехал, вишь ты, мужик — вез жито в город за продналог. Дело было к вечеру: не то, чтобы совсем потемнело, а этак серенько. И вот попадается мужику на дороге-то старуха. «Везешь ты, говорит она мужику, — жито на продналог, — я это знаю. Всего жита у тебя не возьмут, — пуд один тебе оставят. Так ты на этот пуд купи мне платок. Когда обратно поедешь, я тебя буду ждать здесь.» Потом старуха шмыгнула в лес, а мужик поехал. Правда, в губернии пуд ему сбросили, и он купил платок. Только обратной дорогой он возьми и подумай: а на кой черт отдавать платок старухе, — повезу лучше жене. Ну, свернул значит, с той дороги, где встретил старуху, и поехал другой дорогой, окольной. Едет. Дело к вечеру. Серенько. И опять, брат ты мой, перед ним старуха. Будто из земли выросла. И говорит ему: «Ты хотел мимо меня проехать, а вот и не удалось. Давай платок.» Мужик тово… хотел было обмануть, — никакого платка у меня нет. Давай, — говорит старуха, а сама сурьезная такая, к нему идет. Ну, мужик видит: кругом лес, ни души не видно, темнеет, а старуха — кто ее знает, что это за старуха, — отдал. А старуха-то и говорит ему: «Ну смотри теперь.»

Подняла платок, встряхнула, и оттуда, понимаешь-ли ты, посыпались черви, видимо-невидимо. Еще раз встряхнула старуха платок, и оттуда как побегут мыши во все стороны. Третий раз махнула старуха, и поползли гады всякие, — свистят, шипят, извиваются. Еще раз махнула старуха, и выскочили вооруженные люди: конные и пешие и — стали драться. И кровь полилась ручьями. У мужика мороз по коже пошел. «Видел? — спросила старуха. Так смотри, — запомни». И скрылась. Вот какая штука может с человеком случиться.

Семен Парфеныч несколько помолчал.

— По-моему, — продолжал он, — тут предсказанье. Много, брат, пережили мы с тобой, Азбукин, а, кажись, еще хуже будет.

Как школьник на классной доске тряпкой, стирает Семен Парфеныч у Азбукина впечатления, записанные в доме Налогова, и лишь кое-где торчат жалкие остатки от нулей полутора миллиардов:

— И что это за жизнь, Азбукин!

IV

Всего два шага ступил Азбукин от домика сапожника, а похоже стало на то, будто грусть из шкрабьей души перешла и на природу, и устано-

вилось одно настроение и в природе, и в душе. Порядочное облако, которое хватит не только на остаток дня, но и на добрую половину ночи, а, может быть, и на всю ночь, на сутки, на несколько суток, заслонило собою солнце.

Все предметы потускнели. Дома принасупились, и еще явственнее стало, что дряхлы эти дома, что изрядное количество в них и на них заплат, что заборы кое-где еле держатся и если, сохрани бог, из облака хватит вихрем, обрушатся. Особенно пригорюнились национализированные и муниципализированные дома: поглядел бы опекающий их домхоз, какие мрачные думы отразились в это время в их окнах; как молчаливо они протестуют и против того, что и ремонта-то в них не производится никакого, и убирают-то их редко, и стены закоптили, не оклеивают, и полы чрезвычайно редко моют, и прочее и прочее. Но у комхоза были не одни дома, — были огороды, пахотная земля, сенокосы и лавки, главное, нэпманы, покушавшиеся на эти лавки.

Азбукин добрел до *«моста вздохов»* на Головотяпе. Кто назвал столь благородным именем головотяпский мост, когда, в шутку ли, в серьез ли — неизвестно, но даже в объявлениях о первомайской процессии за ним осталось это

поэтическое имя. А, в сущности это был весьма почтенный возрастом, развалившийся мост с прозаическим предупреждением — по ту и другую сторону — о штрафе в 3 р. золотом за курение на мосту, остановку и праздношатание по нему. Сохрани бог, идти или ехать по нему в темную ночь: как скрытые капканы, подстерегает ваши ноги целая система порядочных дыр.

«Мост вздохов» имеет не только историю своей жизни, но и историю своего ремонта. Еще в эпоху военного коммунизма взялась за ремонт его бригада, ветром революции занесенная в Головотяпск, — бригада, поразившая город стуком копыт, звоном шпор, комбригом, воевавшим с уисполкомом, сотрудниками штабрига, такими милыми кавалерами, неподражаемо танцевавшими и даже писавшими стихи, бригада — испепелительница местных сердец, потому что, как бабочки на огонь, устремились на сотрудников штабрига сердца всего того, что осталось от прежнего буржуазного Головотяпска, а на рядовых армейцев — сердца всех прочих обитательниц города. Сколько искалеченных навек сердец осталось от бригады, мелькнувшей, как ослепительный метеор, сколько, попав в сферу ее притяжения, унеслось за ней, как за кометой

хвост, и потом мучительно возвращалось назад по одиночке. Местный поэт подсчитал, что 27 головотяпских барышень уехало с бригадой, и в одну ночь написал оперетку под заглавием —

«27»

И эта оперетка долгое время занимала внимание граждан Головотяпска, любивших искусства. Местное статистическое бюро отметило потом год, следовавший за пребыванием бригады, как год максимального количества рождений, и объяснило это явление исключительно пребыванием в течение нескольких месяцев бригады. Хорошо бы проследить дальнейшую жизнь этого нового поколения. Каким-то оно будет в отроческом возрасте, в юности? Не мелькнут-ли, не отразятся-ли на нем черты, которых не сыскать сейчас в головотяпском гражданине? Может быть, оно будет воинственно, драчливо, будет побивать родившихся в предыдущем году и последующем?

Нельзя ли это также поставить в зависимость от храбрости бригады, громившей в свое время Колчака, Деникина, Врангеля, Балаховича? Может быть, наблюдением за этим и займется головотяпское статистическое бюро?

Какие воинственные песни, ах, какие звучные песни, в которых отразилась вся история скитаний бригады по пространствам Европы и Азии, раздались над и под «мостом вздохов», когда бригада приступила к ремонту.

Как значительно увеличилось тогда число гуляющих по набережной Головотяпы, находивших, что под пение военных песен так же легко и приятно гулять, как и под музыку. Но под звучные воинственные песни была произведена лишь черная разрушительная работа. Когда же надо было начать созидательную, бригада так же неожиданно ушла, как и пришла. Дыры на мосту настолько увеличились, что уисполком запретил в течение всего следующего лета езду по мосту. И половина головотяпского уезда, жившего по ту сторону реки, должна была возить продналог прямо через реку. И так, как берега Головотяпы в городе были довольно круты, и от огромного количества нагруженных подвод на спусках образовались ухабы, где ревом ревели и погибали мужицкие оси, надрывались тощие лошаденки, то читатель может легко представить, какая крепкая, сшибающая с ног брань оглашала тогда берега Головотяпы. Не выдержала, наконец, барабанная перепонка у головотяпского уисполкома

и — он воздвиг через реку временный мост, куда и втянулась продналоговая лента, плескавшаяся раньше в мелководье Головотяпы.

На следующий год, уже при нэпе, мост починял комхоз. Когда головотяпские скептики выражали сомнение в том, что мост будет исправлен, техник комхоза резонно рассуждал: я — это вам не бригада, а комхоз, во-первых, а, во-вторых, мы будем платить за работу. И так как техник читал газеты и даже метил в заведующие комхозом, то прибавил: — а, в третьих, у нас сейчас нэп. И опять какие звучные песни понеслись с моста! Но это были не воинственные песни, занесенные бригадой, — это были песни гражданского образца. Поющие тут обыкновенно ожидают, когда появится на горизонте какой-нибудь головотяпский гражданин, и тогда он попадает в такой стих, в такой переплет, что будь у него более тонкая духовная организация, он никогда бы больше, во время работ, не прошел мимо моста. А головотяпец ходил, слушал и даже невинно улыбался. Впрочем, прогулки парочек по набережной в эти дни прекратились, ибо прекрасный пол, высоко котировавший воинственную удаль бригады, иначе, совершенно иначе относился к невзыскательной поэзии рабочих комхоза. Шу-

му комхоз наделал много, а ремонта… немного больше бригады: установлен был один только ледорез, а мост разобрали было в одном месте, чтобы начать перестройку, но потом быстро сложили вновь. На дыры были нашиты пластыри, производившие такое же впечатление, как заплаты из грубого деревенского холста на старом благородном полотняном белье. Часто спотыкалась об эти пластыри спешащая нога рассеянного головотяпца. Кто-то примется ремонтировать «мост вздохов» на следующий год? Через чьи руки будет проходить казенное зерно, предназначенное для работ? Кто, экономя на этом зерне, потихоньку и незаметно выстроит где-нибудь уютненький, чистенький домик, куда на новоселье после молебна, отслуженного головотяпским батюшкой, соберутся хорошие знакомые хозяина и будут весело болтать о хозяйстве, о лошадях, об удое молока, о цене на хлеб? — Пусть каждый год вечно перестраивается «мост вздохов»!

Азбукин постоял на мосту и посмотрел на водомер. Вода в реке совсем спала. Неприветливо серели покрытые грязью, недавно вылезшие из-под воды, берега Головотяпы. На них лежал десяток плотов, пригнанных комхозом. На одном из плотов женщина полоскала белье и через реку

громко разговаривала со своей знакомой, пришедшей за водой. А та, оставив ведра и поставив, как говорят в Головотяпске, руки в боки, сообщала, что она нанялась носить воду Фрумкину и вознаграждают ее за это полпудом в месяц. От плотов пахло сырой сосной. Неподалеку от берега вдруг повалил густой дым, точно на пожаре: головотяпский гончар начал свою работу. Где-то кто-то учился играть на духовом инструменте, и сдавленные звуки хрипло выли, обрывались, снова завывали, будто выла душа посаженного на цепь грешника. Тускло и грустно плыли медные зевающие гулы с колокольни древнеапостольской о. Сергея церкви, а по набережной ползли туда богомольные старушки. Грустна весна в Головотяпске.

V

Читальня, куда Азбукин направился с моста вздохов, называлась оффициально городской избой-читальней. Под таким именем она значилась и в списках уполитпросвета. Заведывавшая уполитпросветом молоденькая дама, — жизнерадостная и гибкая, кокетничавшая напропалую с комсомольцами, — смотрела на эту избу, как на одну из спиц в колесе своей начинающейся ка-

рьеры. Помещалась читальня в здании бывшего народного дома, за время революции переменившего чуть ли не десяток различных названий: и просто народный дом имени революции, и клуб имени Маркса, и клуб III-го интернационала, и красноармейский клуб. Не так давно в большом зале нашел себе пристанище головотяпский угоркоммол. Почти всегда в зале можно было встретить двух-трех комсомольцев, играющих в шашки; комсомольскую девицу, одетую в кожаную куртку и в штаны — не в штаны, а, скорей, — во что-то штаноподобное, так что не знавшему ее человеку трудно было сказать, какого она была пола; маленького комсомольца почему-то несшего бессменное дежурство в угоркоммоле; наконец комсомольца, по прозвищу «Воперь», который был в головотяпском угоркоммоле с самого основания его, пережил все смены угоркомсомольских кабинетов, говорил всегда от имени правящих головотяпских сфер: мы постановили, и который, в сущности, отличался одним достоинством: умел виртуозно насвистывать.

Читальня помещалась в примыкавшей к залу длинной корридорообразной комнате, и в том месте, где комната выдавалась к окну, в углублении стоял стол с газетами. За столом сидели два

головотяпских комиссара и Секциев.

Один из комиссаров — Лбов — был необыкновенно серьезный человек: у него был нахмуренный высокий лоб мыслителя, и носил он постоянно очки в золотой оправе, которые тоже значительно придавали ему серьезности, потому что видевшие его без очков говорили: без очков он не так серьезен. На съездах и собраниях Лбов обыкновенно выступал с длиннейшими цифровыми данными из газеты «Экономическая Жизнь», которую он один только и читал в Головотяпске. Эти данные Лбов для большего эффекта заучивал наизусть. А потом говорил по вдохновению и выпивал во время своей речи обязательно не меньше графина воды. О чем он говорил? Обо всем и ни о чем; его обыкновенно не слушали, дремали и спали на его докладах, но за ним твердо и неоспоримо утвердилась репутация: наш ученый. И заметьте, — прибавляли при этом, — Лбов никакого образования, кроме нисшей школы, не получил. Самородок! Лбова даже на черную партийную работу не назначали: редко он мотался по различным двухнедельникам, недельникам, субботникам, редко погружался в продналоговое море. Зато он школу открыл, в которой почти один читал лекции, клуб завел,

где устраивал вечера самодеятельности и где, кстати, пользовался квартирой и дровами. В данный момент Лбов читал журнал «Крокодил», избрав его, вероятно, в качестве третьего, сладкого блюда после «Правды» и «Экономической Жизни». Но сладкое, должно быть, не вполне удалось, и на лице Лбова, в пренебрежительных складках, идущих от носа вниз к усам, отразилось недовольство.

Второй из комиссаров отличался отсутствием и учености, и дара слова. Удивительно он был молчалив! Целый род должен был потрудиться, чтобы природа произвела такого молчальника: прадед его, надо полагать, был склонен к молчанию, дед развил его свойство, отец утроил или учетверил и — вот появился, как венец, как завершение рода, как оправдание поговорки: слово серебро, а молчание золото — комиссар Молчальник. На собраниях он совсем не выступал, хотя постоянно в первом ряду виднелась его энергичная фигура. Да и в беседе он ограничивался больше односложными: да, нет, так. Мысль его больше выражалась в жестах. Вот он энергично кивнул головою, словно поставил точку, и собеседник здесь обязательно должен остановиться, — такова сила Молчальника. Молчальник сомнительно

качает головой и будто зачеркивает то, что сказал собеседник — последний начинает сомневаться в своих словах. Но вот он махнул головой в знак того, что соглашается с собеседником и рукой хлопнул по столу, — широкой рукой и — будто подчеркнул слова собеседника, будто написал их курсивом. Зато незаменим Молчальник на практической работе. Как он энергичен! Посмотрите на одну его походку: он не ходит, а подпрыгивает, точно тайные упругие пружины отталкивают его от земли. Вы невольно уступите Молчальнику дорогу при встрече, — таким требованием дышит вся его округленная, ловкая, напористая фигура. Совсем не заглядывают в Головотяпск отечественные художники, а жаль: они нашли бы богатейший материал для своих картин и невыразимая словами фигура Молчальника одной из первых попала бы на полотно. Не проходило ни одного двухнедельника, недельника, субботника, в которых не участвовал бы Молчальник, и проводил он все это успешнее, чем его коллеги.

Как он умеет разговаривать с крестьянином, ценящим в человеке, и особенно в начальнике, уменье говорить кратко и выразительно — ядрено, как вообще ядрено все в нашей деревне, начиная с прелестного запаха цветущих полей и

кончая запахом навоза! Усердие его было безгранично, и, бог весть сколько анекдотов родила эта безграничность. За свое усердие при генеральной чистке партии, Молчальник был исключен из партийных списков. Исключение это длилось, однако, не долго. Чистившие головотяпскую организацию были людьми приезжими из губернского города. Вскоре они уехали не только из Головотяпска, но и совсем из губернии; свои же, головотяпские, коллеги, конечно, знали всю подноготную каждого из своих собратьев. Они, справедливо, не могли не смотреть на обвинение Молчальника в разного рода проступках, иначе как на мелкобуржуазную клевету, и снова Молчальник занял место в рядах головотяпских комиссаров. Состоит ли еще суровой чистильщик, — принципиальный губернский комиссар, приезжавший в Головотяпск, — в числе комиссаров, — кто знает? Говорят, он учится где-то, студент; а Молчальник, как состоял комиссаром, так и состоит. И его ценят, и с ним считаются, — и хозяин его квартиры, словоохотливый и буйный во хмелю, хлебнув самогонки, кричит на свою улицу: — Чего же мне не пить? А? Ежели у меня живет такой комиссар. Во какой комиссар!

В тот момент, когда Азбукин вошел в читальню,

Молчальник уткнулся в «Известия», и трудно было угадать, что он читает.

Третий был Секциев. И фигура его, и одежда, и черты лица, и даже самое выражение лица, и глаза, и уши, — все у Секциева было незначительнее и мельче, чем у сидевших против него. Те сидели энергичные, уверенные в себе, а в Секциеве не было этой уверенности: в нем была некая неопределенность, серость. Например: при первом взгляде лицо Секциева казалось угреватым, при детальном рассматривании угрей не оказывалось, а была местами кое-какая краснота. Были у него и усы, и небольшая бородка, но так как он то их носил, то сбривал, — то если бы спросить даже его ближайшего знакомого: закройте глаза и представьте лицо Секциева — есть ли у него борода и усы — знакомый Секциева, застигнутый врасплох, сказал бы: право, не знаю. Вряд ли бы Секциев попал на полотно художника, заглянувшего в Головотяпск, — лучше всего изобразить его можно словами.

Секциев раньше был не Секциев, а Ижехерувимский. До революции эта фамилия была для Секциева своего рода прибавочной стоимостью. В кругу головотяпского духовенства его определенно считали своим, хотя он и служил в земстве.

Может быть, он и регентом церковного хора сделался благодаря своей фамилии. Но, когда разразилась революция, Секциев призадумался: слишком кричала о нем его фамилия. Пусть бы он был какой-нибудь Вознесенский, Воскресенский, Предтеченский, — это куда бы еще ни шло. Сколько на свете существует Воскресенских, которые и совсем не похожи на Воскресенских!

Посмотришь на Воскресенского: этакий франт в галифэ, френче, а на лице ни черточки елейности, богоугодности, — лицо вполне лойальное, благонамеренное, так что невольно забудешь его настоящую фамилию и назовешь его как-нибудь иначе. Но тут — Иже-хе-ру-вим-ский.

Уже после февральской революции Секциева начала тревожить прежняя фамилия, хотя в Головотяпске дела еще шли так, что 1 мая 1917 года торжества были открыты молебном на базарной площади, а духовенство оказалось настолько либеральным, что, записавшись было огулом в кадетскую партию, потом, в июле 1917 г., стало обнаруживать тяготение даже к социализму в виде эсерства и меньшевизма. Меньшевиком стал и Ижехерувимский.

Когда в октябре зажужжала вся меньшевистская и эсерствующая мошкара, прилипшая к

общественному пирогу, — тогда Секциев чуть было в комитете спасения революции не очутился. Его заслуга состояла в том, что он лично присутствовал на почте, когда головотяпский комиссар временного правительства от имени всего Головотяпска отправлял воинственную телеграмму о том, что Головотяпск ждет лишь призыва, чтобы стать на защиту демократии и родины. Присутствовал при отправлении — это почти тоже, что сам отправлял. Секциев так говорил: мы с комиссаром отправляли. Прохромало время междуцарствия — от октября, приблизительно, до мая, — когда не разобрать было, что творилось в Головотяпске: демократия — не демократия, советы — не советы; ни демократический рай, ни советский ад.

Кто бы из приехавших в Головотяпск большевиков, учредивших головотяпскую советскую республику — так оффициально был назван новый строй в городе, — мог вперить свой пристальный взор в какого-то Ижехерувимского, который и неприметен-то был, как отдельная былинка среди густой головотяпской травы, буйно ринувшейся на божий свет разными крапивами и лопухами?

Но Секциев был человек мнительный и поба-

ивался: а вдруг узнают, что он присутствовал на почте при отправлении телеграммы Керенскому? А вдруг найдут под текстом этой телеграммы среди сотни других подписей и его фамилию, которую — осторожность никогда не вредит, — он написал так мелко и неразборчиво, что нужна была лупа, чтобы разобрать ее? Отчасти только успокаивала мысль, что головотяпские большевики, которые по натуре были кипучими деятелями, а отнюдь не кропотливыми исследователями, вряд ли станут возиться с таким инструментом, как лупа. Но вдруг совет головотяпских народных комиссаров, — так-называло себя на первых порах новое головотяпское правительство, лишь впоследствии властною рукою центра превращенное в скромных заведующих разными отделами, вдруг он среди списка служащих выищет фамилию Ижехерувимский? Или вдруг кто-нибудь, в присутствии комиссара, назовет его не по имени и отчеству, а возьмет, да и бухнет Ижехерувимский!

Ижехерувимский долго блуждал по улицам Головотяпска, раздумывая, что делать со своей фамилией и, наконец, решил переменить ее. Предварительно он обиняками навел справку, можно ли это, и оказалось, что это вполне воз-

можно. Но какую фамилию избрать? Избрать какую-либо ярко-красную фамилию, например: Коммунистов, Большевиков, Советский было заманчиво, потому что хорошо обеспечило бы службу и даже повышение. Но кто знает, долго ли продержится новый строй? А вдруг переменится? Тогда опять меняй фамилию. И вот однажды, когда Ижехерувимский был погружен в раздумье над тем, какую фамилию ему избрать, и в уме его промелькнули сотни фамилий, взор его ненароком упал на надпись на дверях одной комнаты:

Культурно-просветительная секция головотяпского совдепа.

Тут Секциев оживился и, в счастливом предчувствии разрешения долго мучившего его вопроса, перевел свой взгляд на двери соседней комнаты, и там опять, как огненные, горели буквы —

Юридическая секция.

Тогда головотяпский совет разделялся еще на секции. — Секция — прошептал Ижехерувимский и сейчас же по какому-то вдохновению произвел от этого слова свою новую фамилию: Секциев. И необычайно обрадовался: фамилия

была во всех отношениях хороша. Что такое слово: секция. Что оно говорит русскому духу? Да ничего. Есть ли в нем какой-либо цвет, запах? Да никакого. Удобнейшая фамилия! С ней можно смело отправиться в бушующее революционное море: она и на огне революции не сгорит, и в воде контр-революции не потонет. В заявлении, которое Ижехерувимский подал в совет, говорилось:

Желая освободить себя от позорного клейма, которым еще, вероятно, в бурсе запятнали моих предков, прошу головотяпский совдеп дать мне новую фамилию: Секциев, в честь благородных секций, на которые разделяется совдеп.

Совдеп согласился с просьбой и в местной газете —

«Известия головотяпского уездного совета народных комисаров» — издал соответствующий приказ. И Ижехерувимский умер навсегда.

После того Секциев спокойно служил делопроизводителем и даже секретарем отдела образования. Иногда он испытывал волнение, но это было волнение наблюдателя. Шел Колчак, верховный правитель, и виднейший в Головотяпске меньшевик — кооператор говорил Секциеву при встрече: «Идет и нигде не могут остановить. И не остановят.» Больше меньшевик ничего не

говорил: он был очень лойальный человек и предпочитал говорить между словами. Секциев верил ему и несколько месяцев был настроен по-колчаковски. Колчак сгинул, но на смену ему явился Деникин и никто другой, как о. Сергей, нынешний глава Головотяпской древне-апостольской церкви, говорил Секциеву: «Ну, Иван Петрович, к Покрову пресвятой богородицы Деникин в Москве будет, а мы благодарственные господу богу молебны служить будем.» И некоторое время Секциев мыслил по деникински. На следующий год грозили поляки. — Это вам не Колчак и не Деникин, — говорили про них в Головотяпске. — Это народ культурный, образованный. За ними стоит Западная Европа. Конец советам! Секциев тогда настроился по польски и ждал поляков. Но и поляки не дойдя до Головотяпска, где-то застряли, израсходовали воинственный задор и — мир даже заключили. Исчезли оперативные сводки в газетах, настало спокойное время во всей республике, и в третью годовщину революции ученый Лбов, свободный, разумеется, от всяких предрассудков, в публичной речи воскликнул: «Раз три года просуществовали советы — значит будут существовать вечно». Это была мистика, связанная со значением числа 3, и слова комис-

сара произвели довольно сильное впечатление на Секциева.

С пришествием нэпа, Секциев понял, что главная пучина революции уже осталась позади, и в нем опять появилась жажда общественной деятельности, побудившая его в свое время присутствовать при отправлении телеграммы Керенскому. Секретарь отдела образования, — он произнес несколько речей на месткомах и был избран в правление уработпроса. Случилось так, что остальные коллеги по правлению совсем не интересовались профессиональными делами, а он любил сидеть в правлении, выслушивать посетителей, писать протоколы, налагать резолюции. Для того, чтобы он мог всецело сосредоточиться на профессиональной правленческой работе, его даже от должности секретаря освободили. Так протекали революции год четвертый и пятый. И все время Секциев в анкетах под графой партийность ставил: беспартийный.

Пошел шестой год революции. В этом году в уездном экономическом хаосе обеспечения материальными благами служащих ясно обозначились орбиты, по которым стали вращаться полуторамиллиардные и выше оклады

ответственных работников. К окладам, — это произошло как-то само собой — присоединялись: лучшая в городе одежда, важность, сановитость и другие подобные им свойства, осевшие наслоениями на первоначальном облике головотяпского революционера. Хорошо быть ответственным работником, — в один голос заговорили тогда в Головотяпске. Говорил об этом и Секциев. Для того, чтобы занять это почетное место, у него не хватало лишь партийности. А тут на губернском съезде работников просвещения, куда он ездил обыкновенно один от уездправления, поставили на вид, что среди головотяпского союза работников просвещения мало партийных работников. Секциев понял это, и решил записаться в члены головотяпской организации коммунистической партии. Чтобы вернее обеспечить себе место ответственного работника, Секциев решил проделать некоторую необходимую по его мнению, подготовительную работу. Нужно было не просто попасть в партию, нужен был осел для торжественного въезда в нее, чтобы по пути постилали одежды и махали вайями. Таким ослом избрал было Секциев профессиональную дисциплину: не проходило собрания, чтобы он не говорил о профессиональной дисциплине.

— На основе профессиональной дисциплины, — стало его любимым выражением.

Но ослик оказался спорным и начал спотыкаться: головотяпские партийные деятели разъяснили Секциеву, что профессиональная дисциплина при нэпе не то, что профессиональная дисциплина при военном коммунизме. И тогда без всякого сожаления прогнал от себя этого осла Секциев, избрав в качестве орудия другого осла. Таким оказался марксистский кружок. За целые пять лет революции не додумались до него в Головотяпске. Додумались до клуба имени Маркса, в котором меньше всего говорили о Марксе; додумались до постановки гипсового бюста Маркса на базарной площади, бюста, который был очень похож на соборного головотяпского протоиерея. Но, чтобы открыть марксистский кружок — до этого никто пока додуматься не мог. Это был надежный осел, на котором смело можно было совершить торжественный въезд.

— У нас марксистский кружок! Мы марксисты! Мы изучаем теоретическую основу коммунизма, — анонсировал всюду Секциев, и к его голосу стали настолько прислушиваться в партийных кругах Головотяпска, что начала даже затмеваться звезда самого Лбова. Секциев был избран

от междусоюзной профессиональной организации оратором на митинге 1-го мая и должен был говорить непосредственно за председателем исполкома. Он уже мысленно составил эту речь, вращающуюся около главного положения, которое он неоднократно подчеркивал и в разговорах: из маленьких марксистских кружков выросла великая коммунистическая держава. Тут был очевидный намек на свой маленький *марксистский* кружок. Закончить речь он предполагал восклицанием: да здравствует коммунизм во всем мире! Кто бы мог предсказать, что Секциев, меньшевик Секциев произнесет во всеуслышание, публично, когда-нибудь эти слова? Вот и толкуйте после сего о значении личности, об ее независимости от среды, толкуйте об индивидуализме, когда на протяжении всего пяти лет человеческая личность, даже личность меньшевика, может так измениться, что сама себя не узнала бы, если бы ей показали, какой была она пять лет тому назад. Катит себе волны огромная человеческая река, неизвестно откуда начавшая свой исток и неизвестно куда стремящаяся, и плывут по ней щепки — разные Секциевы, Лбовы и многие из них самоуслаждаются, думая: — Сами плывем, никто нас не гонит; вздумаем и переме-

ним течение, это мы управляем течением, это у нас сопоставлены вернейшие теории о том, куда плывут окружающие нас миллионы щепок. И на тебе: волна на ряд мгновений ставит их торчком, так что видны им делаются не только соседние щепки, но и берег, и его извилины и тогда они убеждаются, что грош цена всем их теориям, и не сами они плывут, а несет их в бесконечность беспечная и равнодушная волна.

До сегодняшнего вечера Секциев был уверен в скором вступлении в партию, фантазия уже малевала ему сперва уездную, а потом губернскую карьеру. Но, сегодня, перед самым приходом Азбукина, роясь в газетах, он прочел постановление 12-го съезда партии о том, что в течение ближайшего года в партию следует принимать преимущественно рабочих, — остальные же должны быть все это время кандидатами. Постановление ушатом холодной воды окатило честолюбивую мечту Секциева. К рабочим его, при всем желании, не причислить. Копти целый год в кандидатах, — все под знаком вопроса и в тумане.

Прощай мечты о быстрой карьере!

Неудивительно, что и на неопределенном и сером лице Секциева было недовольное выраже-

ние, когда вошел Азбукин.

VI

Азбукин, подойдя к столу, неуклюже, словно туловищем въезжая в него, поклонился и тихо сказал: здравствуйте!

Комиссары подняли головы. Лбов ограничился тем, что посмотрел на шкраба поверх очков, а Молчальник испустил изо рта сильную струю воздуха, будто дуновением хотел прогнать надоевшую ему муху. Впечатлительный и мнительный Азбукин решил, что это от него нехорошо пахнет. Съежившись, он скромно подсел к Секциеву, с которым был знаком и протянул руку. Секциев подал ему руку тем же жестом, каким прежде важные персоны подавали два пальца людям мелким, и продолжал читать газету.

Азбукин взял газету. На первой странице, на видном месте, был бюллетень о здоровьи Ленина. Всегда с волнением читал его Азбукин. Его маленького, забитого, робкого, нерешительного привлекал к себе образ выдающегося борца-титана, подобно тому, как его пасмурную меланхолическую душу привлекала солнечная поэзия Пушкина.

И сейчас, читая бюллетень, Азбукин подумал

нежно:

— *Вождь!*

И припомнились, кстати, стихи Пушкина о Петре Великом, которые Азбукин отнес к Ленину:

— *Так тяжкий млат*

Дробя стекло, кует булат.

Этот молот выкует русское счастье! Даже мировое счастье выкует! Ведь, сиянье будущего отразилось в блеске этих, известных всему миру, ленинских глаз; пренебрежение к разлагающемуся заживо старому миру и дерзновение идти новыми, еще неизведанными историческими дорогами в его ленинской гримасе лица; огромная сила мысли, отметающая всякие дурманы психологические и социальные в его большом выпуклом лбу. Азбукину часто представлялся памятник, который по его мнению, следовало бы поставить Ленину: фигура Ленина в железном энергическом порыве вперед, а за ним — не уездные комиссары и комиссарики во френчах и галифэ, а крестьяне — бородачи с косами, вилами, бабы. Их увлек порыв вождя, они идут за ним беззаветно, слепо. Куда? В землю обетованную, в светлое царство свободы. И эта земля обетованная уже близко: она уже сияет в знающей ее

ленинской улыбке, живет в тех его порывистых движениях, которые свойственны только вождю, знающему дорогу.

— Рабоче-крестьянский вождь, — еще нежнее восклицает в шкрабьем сердце своем Азбукин. Новый титан. — Прометей, прикованный болезнью за то, что принес миру огонь возмущенья против общественной неправды, эксплоатации, угнетенья.

Он бегло просмотрел ноту Комиссариата Иностранных Дел и — погрузился было в статью о театре, да в это время заговорили.

— Подобные вещи я бы запретил под страхом расстрела, — неодобрительно отбрасывая в сторону «Крокодил», сказал Лбов. — Теперь еще не время смеяться. Всем надо работать. Вот этих всех насмешников заставить бы писать статьи по улучшению сельского хозяйства.

— Да! — кратко согласился Мочальник, точно поставил знак восклицания за словами Лбова.

— Легко смеяться над провинциальными работниками. А каково им работать, а? Не на автомобилях, а на собственных ногах.

— Лошаденки то есть, — размашисто зачеркнул слова Лбова Молчальник, у которого была самая лучшая лошадь в Головотяпске.

— Ну, а сено? Сена сейчас только полтора пуда на пуд хлеба дают.

— И сено есть.

О сене не приходилось Молчальнику беспокоиться: еще с осени призапасся он им вдоволь.

— Так-то так. А всетаки смех недопустим, — сказал Лбов, серьезно устремив глаза в пространство, словно пытаясь прочесть необходимую ему мысль. И, наконец, действительно прочел:

— На следующем партийном собрании я потребую, чтобы закрыли местный теревьюм. Театр революционного юмора у нас в Головотяпске?! Это прямо недопустимо. Какой у нас может быть юмор?

— Вот это дело, — согласился Молчальник, и в глазах его пробежал даже враждебный огонек. — Это я поддержу.

Бедный антрепренер теревьюма, незадачливый головотяпский поэт! И подтолкнула же его нечистая сила в последнем сеансе теревьюма задеть обоих комиссаров сразу: и Лбова, и Молчальника. Лбова он повесил. Вернее, Лбов сам повесился, и даже не Лбов, а кто-то другой, под другой фамилией, но весьма схожий с Лбовым. Повесился в отчаянии, что пропустил день памяти Либкнехта и Розы Люксембург. В теревьюме

действие происходило где-то в тридевятом государстве, с неизвестным героем, но почему то все присутствующие признали в этом герое Лбова, у которого был подобный же неприятный казус. Молчальника поэт совсем не вывел на сцену, не вывел даже человека — по образу и подобию Молчальника, но зато на сцене подвизалась неизвестная шуба, очень похожая на шубу Молчальника. Шуба была так похожа на шубу Молчальника, что все присутствующие в теревьюме отнесли ее действия к нему, а сам Молчальник, далеко не отличавшийся выдержкой Лбова, налетел на бедного поэта и чуть его не избил.

— Так вы так-то… Да я вас за это к суду.

— Да не про вас же я, не про вас, — уверял поэт, стараясь как-нибудь улизнуть от возможной, расправы.

— А как же там моя шуба?

— Да не ваша же, не ваша!

— Моя… знаю, негодяй… под суд… в тюрьму.

Поэт побледнел от страха. Тут он прибег для успокоения Молчальника к самому героическому средству, к которому он намеревался обратиться лишь в случае действительного привлечения к суду.

— Такая же шуба есть у одного продкомовского служащего. А он раньше приставом был. Все изображенное не может относиться к кому-нибудь другому, например, к вам, потому что театр революционного юмора не может и не смеет осмеивать таких почетных деятелей, как вы.

Молчальник увидел, как ловко выскользнул из опасного положения поэт, и как опростоволосился он сам. Он только плюнул и отошел прочь. Но чувство неприязни, даже ненависти у него осталось. Теперь он необыкновенно обрадовался предложению Лбова.

— Этакого человека, — отчеканил он твердо, — надо бы из пределов уезда выслать.

— Вот это хорошо, — поддержал на этот раз и Секциев. — А то на следующий раз он собирается высмеять наш марксистский кружок. Ведь Маркс — это святыня. А мы изучаем Маркса. Как же можно смеяться над нашим кружком?

Здесь Секциев немного соврал или, как принято выражаться, ошибся. Кружок Маркса еще не изучал. Было всего два кружковых собрания. Одно было организационное: на нем только распределили между пятью членами кружка административные должности — председателя, двух товарищей председателя и двух секретарей.

Один из членов напомнил было, что, например, на уездных учительских собраниях президиум состоит из 7 человек и это гораздо эффектнее, но ему резонно возразили что сейчас такой президиум неосуществим, в виду недостатка членов. Внесший предложение попросил, чтобы оно все-таки было занесено в протокол для руководства, когда количество членов кружка увеличится. На втором собрании постановили приобрести сочинения Маркса, истребовав необходимые для этого средства из отдела образования. Кроме того решили исходатайствовать небольшую субсидию для организации во время собраний товарищеского чая… Обо всем этом и стало известно теревьюму, — искоренителю всего смешного в Головотяпске.

Но теперь решена участь теревьюма и решена также и твоя участь, злосчастный поэт, заведующий отделом головотяпского смеха! Единственный заведующий, который не является с портфелем на заседания пленума и президиума и с видом государственного деятеля не извлекает оттуда бумаги, перед которым не заискивают и не подхолимничают служащие, который не шествует в первомайской процессии, подобно римскому и греческому военачальнику, впереди

когорты своих подчиненных, который, чтобы «зашибить деньгу» должен головотяпскому ценителю искусства такие остроты преподносить, чтобы в нос садануло, который и теревьюм свой превратил в балаган и сам нацепил на себя костюм клоуна и в этом непотребном одеянии распевает на потеху гогочущей головотяпской толпы сочиненные им на злобу дня стишки, где, впрочем, осмеливается задевать только шубы или носы, а не их обладателей; которого за эти шубы и носы, пропущенные кстати, цензурной комиссией при отделе образования, тащат к уполномоченному политбюро, который… Но, боже мой, какая бесконечная вереница и куда она может привести! Может быть, в такие места, где смех вовсе неуместен! И зачем ты, головотяпский поэт, не ограничился тем, что читал со сцены чеховские рассказы, выражая в своем лице и пьяного рассуждающего человека и лающую на него собаку, что рассказывал анекдоты из ученической, еврейской и армянской жизни? Лбов и Молчальник смеялись тогда от души, называли тебя остроумным, рукоплескали тебе. Тебе мало этого: ты захотел быть обличителем, ты слишком высоко стал думать о теревьюме, ты стал говорить, что тебя и комиссары головотяпские

побаиваются, что ты — общественная сила. Так выпей же до дна чашу, которую преподнесут тебе Лбов и Молчальник — ты ее заслужил!

VII

Заключив военное соглашение против теревьюма, комиссары скоро поднялись и ушли. По-вечернему гулко отдавался звук их шагов сначала в корридорообразной комнате, потом на лестнице и — незаметно где-то окончился — переплавился в тишину, настолько надвинувшуюся со всех углов, настолько сгустившуюся, что резко запечатлевалось слухом шуршание газеты в руках Секциева. Подкрадывались сумерки и Секциев отодвинул газету: он дорожил зрением и нашел, что продолжать чтение будет вредно для глаз. Тут он, собственно, и заметил скромного шкраба Азбукина с которым поздоровался почти машинально.

Азбукин, погрузившись было в чтение театральной заметки, тем способом, который понятен ему, Азбукину, и целым тысячам, а, может быть, и миллионам людей, но всетаки не вполне еще доступен для науки — узнал, что Секциев газеты читать не будет и хочет о чем-то поговорить с ним. Азбукин тоже отодвинул газету, но не встал

и не вышел. Продолжал он сидеть молча до тех пор, как Секциев, немного снисходительно, спросил его:

— Ну, как там вы?

— Ничего.

— Так.

Это была увертюра. Надо было с чего-нибудь начать.

— Программы получили.

— Получили.

— К празднованию 1-го мая готовитесь?

— Да.

— Значит, на фронте все обстоит благополучно… на фронте просвещения, — констатировал Секциев, принимая соответствующую позу.

— Благополучно. Только вот переподготовка… — запнулся Азбукин.

— Да-да. Это дело очень и очень важное. Можно сказать, первостепенной государственной важности. Понимаете, поставлена ставка на советского учителя. Мы — именинники. Кто на нас раньше обращал внимание? Кто посещал наши собрания, кроме нас, шкрабов? А сегодня собрание будет, — посмотрите, придет к нам с десяток партийных. А это, знаете, обязывает, — мы должны переподготовиться.

— В правлении союза, значит, есть уже инструкция относительно этого? — осведомился, робея, Азбукин.

— Как же! Как же! За переподготовку взялся заведующий культурно-просветительным отделом Усерднов.

— Усерднов? — испуганно спросил Азбукин: он знал Усерднова.

— Да, он вчера в заседании правления три часа читал обращение центрального комитета и другие циркуляры о переподготовке.

— Значит, и отдел, и правление?

— Да, с двух концов… поджаривать вашего брата будем.

Секциев сострил, но его острота походила на упражнение: кошке-игрушки, а мышке-слезки.

— Вы, Иван Петрович, человек авторитетный в наших сферах, вы и на губернские съезды постоянно ездите, — скажите, что выйдет из всей этой переподготовки? — спрашивала бедная мышка.

— Дело серьезное. Страда. А осенью экзамены. И если кто… Понимаете?

Совсем обезкуражило Азбукина. Мысль о провале мелькнула у него. А Секциев еще утемнял краски.

Азбукин подавленно молчал.

— Да, товарищ Азбукин, дело громаднейшее, можно сказать. Все должны переподготовиться. Тут, брат, не увильнешь. Все.

— Да, товарищ Азбукин, во всем мире должна произойти переподготовка. Самое мировоззрение человека должно измениться, должно стать марксистским. Вы слыхали о нашем кружке?

— Слышал.

— Так вот, этот кружок будет переподготовкой всему Головотяпску. Мы головотяпца в марксиста превратим. Прочие переподготовки будут представлять только отдельные струи в нашем марксистском устремлении.

— Значит, если записаться в кружок?

— То и переподготовка не нужна будет. Кого заставят плескаться в незначительном ручейке, ежели он в состоянии плыть по большой реке? Даже…

Тут Секциев хотел было добавить, что марксистский кружок — кратчайшая дорога в партию, но умолк.

Вскоре, однако, он продолжал бодро и радостно.

— Пять с лишним лет в Головотяпске существует коммунистическая партия и советская власть, и, надо признаться, что все головотяпские ком-

мунисты прекрасные практические работники…

Секциев с удовольствием подумал, что похвала может достигнуть ушей тех, к кому она относится.

— Они много потрудились над водворением советской власти, они самоотверженно собирали продналог, проводили двухнедельники, субботники, они герои, подвижники но…

Секциев помахал рукой, словно хотел облегчить себе и собеседнику перевал мысли.

— Но какие ж они теоретики? Им недостает идеологии. Они, в сущности, незнакомы с марксизмом. А марксизм это, понимаете ли, как душа в теле. До сих пор здесь, в Головотяпске, было пустое место. Мы заполнили его. Мы дадим идеологию головотяпским коммунистам. Мы будем учителями этих зарекомендовавших себя практиков. Что может быть выше, почтеннее данного служения?

— Записаться разве в кружок? — мелькнуло вдруг у Азбукина.

— Кружок разрастется, — продолжил Секциев. — Я вижу это. Он будет своего рода закваской, которая заставит бродить головотяпское тесто. Мы разбудим Головотяпск. Мы мещан головотяпских превратим в марксистов. Мы…

В соседней комнате комсомольского клуба неожиданно грянули бурные звуки марша — того самого, который играют в Головотяпске во время всяких торжественных шествий. Секциев вздрогнул и перестал ораторствовать. Азбукин вздрогнул: ему жаль было, что так некстати прервали уверенную речь новоявленного головотяпского марксиста. А звуки марша все неслись и неслись… Будто в уютную и мирную, чуть спросонья, комнату ворвалась толпа забияк-мальчишек, и они, не зная, куда деть свою юную энергию, шныряют по комнате, подпрыгивают, сдвигают мебель, кричат, смеются, дерутся.

Секциев взглянул на часы.

— Через полчаса собрание городского месткома. Надо сбегать домой скушать яичко. Я утром и вечером съедаю по яичку.

Азбукин, оставшийся в одиночестве, предался печальному раздумью. Его начала упрекать совесть в том, что он с корыстными целями хотел попасть в марксистский кружок. Совесть говорила довольно таки бесцеремонно:

— Разнесчастный ты шкраб! Чего ты возжелал? Карьеры? Хочешь таким образом избежать переподготовки? Вспомни прежние суровые времена, когда ты три лета подряд отхватывал босиком,

когда у тебя по неделе хлеба во рту не бывало. Вот тогда ты точно был Азбукин, и мне приятно было итти с тобой нога в ногу. А теперь?.. Право, если возникнет еще раз у тебя подобное желание, мне будет стыдно показаться на улице-то с тобой. Бросайся, брат, вместе с другими и на равных основаниях в пучину переподготовки.

* * *

Разговор с совестью был куда неприятнее разговора с Секциевым. Азбукин резко оборвал его, встал и ткнулся головой в дверь, ведущую в соседнюю комнату. Там, на эстраде, собралась группа комсомольцев обоего пола. Кто-то наигрывал на рояли. Приятный баритон ухарски отбивал:

Гол я, братцы, как сокол,
Нету ни «лимона»,
Запишусь-ка в комсомол, —
Буду я персона.

И как бы поднимая брошенную перчатку — вызов на состязание, женский голос чеканил в свою очередь:

Карла Маркса мы прочтем,
«Азбуку» изучим.

Подождите — подрастем, —

Нэпманов проучим!..

На эстраде раздалось: бис, браво, товарищ Мэри. И шумно зааплодировали.

Потом долговязый комсомолец сказал картавя, но весьма внушительно:

— Товагищ Мэги. У вас — талант. Поздгавляю.

Мужской баритон, которому не аплодировали, обиженный успехом своего соперника, снова вылетел наперед:

Есть махорка, есть бумажка, —

Вынимай-ка портсигар.

Поцелуй меня, милашка, —

Я ведь важный комиссар.

— Ха-ха-ха, — завился женский смешок. — Родионов, сами придумали?

— Сам, ей-богу, сам — уверял баритон. — Вчера, вижу лежит клочек бумажки. Дай, думаю…

Но его прервал ядреный, побеждающий голос:

Нос — картошка, глаза — слива,

Лоб — могильная плита.

Руки длинны, ноги кривы,

Вшива грива, борода.

Гомерический хохот потряс зал. И опять крики: бис, браво.

Азбукин невольно был увлечен весельем собравшейся молодежи. Он даже несколько попятился от дверей, чтобы получше разобрать то, что происходит на эстраде. Но в темноте видны были лишь силуэты, да на стене, немного фантастически, обрисовывалась бесконечная хартия прегрешений, за которые наказывались комсомольцы, и чудилась за этой хартией древняя-предревняя, христиански-знакомая голова с лукавыми рожками.

Вот куда-бы записаться, — с тайной завистью помыслил Азбукин. Но сразу же с тоской вспомнил, что ни один комсомол в мире не примет его потому, что он уже пережил предельный возраст, что уже седые волосы есть у него на голове.

Пропели, верней, отрубили, еще ряд частушек, и сумрак зала, просверленный золотыми точками папирос, время от времени раздирался жизнерадостным смехом.

— Товагищи! — обратился высокий комсомолец. — 30-го апгеля у нас в Головотяпске состоится конгесс молодежи. Будут представители Польши и Чехо-Словакии. Товагищи, не удагим лицом в гьязь. Устгоим такой вечег самодеятельно-

сти, чтобы о нас заговогили в губегнии… даже в Москве.

— Устроим, устроим, — подтвердили все.

— Товагищи, угостим их на славу. Я уже испол-ком просил дать на это сгедств. Отпускают 50 пудов ячменя.

— Ура! загремело под потолком. — Качать ответственного секретаря.

На эстраде поднялась дружная возня, сопровождавшаяся шутками, смехом. А приятный баритон той порой уже наяривал составленную им экспромтом частушку:

Эх, ячмень, ячмень, ячмень,
Золото ты русское,
Эх, кабы только не лень,
Взяли б мы французское!

— Возьмем! — крикнул ответственный секретарь. — Пусть бугжуи больше копят. А у нас, товагищи, завелся поэт. Пгекгасный поэт. Качать поэта!

Опять возня, но только уж около баритона. Во время этой возни, через дверь напротив волчком подкатился к эстраде какой-то человек.

— Товарищи, — раздался его голос, напоминавший голос недавно приучившегося кукурекать

петушка.

Все притихли.

— Товарищи. Сообщаю вам последнюю сенсационную новость. У нас скоро будет произведено всем комсомольцам испытание по 12 предметам.

— Испытание?! По 12?! Неужели? — выпорхнуло со всех сторон.

— Да, по 12-ти. Азбука коммунизма, советское строительство, история партии, биография вождей и прочее.

Неловкая тишина, скрадываемая только тьмой, сожрала, не жуя, прежнее веселье.

— Тогарищи, — попробовал все же ободрить голос ответственного секретаря. — Не падайте духом. В нас много юношеского огня и погыва, но нужен матегиал для того, чтобы постоянно мы гогели. Нужна подготовка, товагищи. Ггызите молодыми зубами гганит науки, как сказал товагищ Тгоцкий.

— Должно быть тоже переподготовка будет, — ссутулился Азбукин и вышел потихоньку вон.

VIII

Азбукину не было нужды заходить домой пред собранием месткома: его не ожидало яйцо, чаявшее Секциева. Но зная, что собрание наверняка

затянется, что будут много курить и что в комнате будет душно, — шкраб решил немного побродить по городу. Сначала он шагал один по головотяпскому большаку, осторожно передвигая ноги, чтобы не споткнуться о явственно ощерившиеся, местами крепкие камни булыжника. Граждане Головотяпска и его уезда совершали путешествие по этим булыжникам лишь в самом крайнем случае, предпочитая месить непролазную грязь по окоему мостовой.

Кто-то догнал Азбукина и присматривался к нему.

— Азбукин… друг, — услышал, наконец, он знакомый голос о. Сергея.

— О. Сергей, это вы?

— Я, я. Милостию божиею и вашими молитвами.

— Ну, мои-то молитвы… — Азбукин рассмеялся.

— Нет, друг мой, не отрицайте молитвы. Ведь что значит дружеская беседа в жизни? А? Иногда — все. А молитва — это дружеская беседа. Есть у вас горе — помолитесь и горе, как рукой снимет. Ну, что в вашей жизни нового?

— Да ничего. Вот разве переподготовка.

— Переподготовка? И у нас, друг мой, тоже пе-

реподготовка.

— Это вы что же недавнее свое заключение именуете переподготовкой. Плохо вам пришлось там.

— Нет, не тюремное заключение, друг мой. Оно уже в область истории кануло безвозвратно. У нас теперь содац.

— Что такое? — удивился Азбукин.

— Союз древне-апостольской церкви, — довольно вскликнул о. Сергей. — Это и есть наша переподготовка. Довольно, друг мой, нам из-за какого-то Тихона да монахов страдать. Белое духовенство, — мы, так называемые попы, — раньше лишь пешками были в руках монахов. А, в сущности, белое духовенство — все революционное. Ему только хода не давали.

О. Сергей порывисто вздохнул и некоторое время шел, сопя.

— А теперь пришел наш черед действовать. Три дня тому назад я вернулся с епархиального съезда. Теперь все, друг мой, по-новому. Мы на съезде решили приветствовать власть, которая, не веруя, стремится к тому же, к чему идем мы, веруя. Мы постановили многолетие возглашать в честь правительства. Мы, примкнувшие к древне-апостольской церкви, в сущности, комму-

нисты в рясе.

— Как так? — удивился еще больше Азбукин. — Коммунисты-же — безбожники!

— Да и мы, — поспешно возразил о. Сергей, — подчеркиваем, в противовес монахам, человеческую природу Иисуса Христа. Церковь, с нашей точки зрения, тоже подобие коммунистического общества. Я уже говорил об этом со старостой Брызгиным. Одобряет.

— Брызгин? Он-то ведь торговец…

— Жена его действительно лавочку имеет, а сам он — советский служащий, заведует кооперативом. Первого мая он даже на красной трибуне предполагает выступить с приветствием от кооператива.

О. Сергей вынул на ходу коробку с папиросами и спички, затем остановился и чиркнул спичку. При свете спички на несколько мгновений было выхвачено его лицо с смеющимися, хитро косящими глазами, с чувственными губами, — лицо, поросшее насквозь густой, буйной как огородная трава, растительностью. Лицо его привлекало к себе и было порядком знакомо прекрасным обитательницам Головотяпска. Многие из них исправно посещали службы, которые нес о. Сергей, и находили, что и служит он с чувством, не спе-

ша, благолепно, и поклоны кладет по-писанному, и наставление может дать, и говорит всегда: — Друг мой, — а на самом деле… Но вероятно, и без слов будет понятно, чем нравился о. Сергей прекрасным нашим обитательницам. Сейчас, вернувшись с епархиального съезда, о. Сергей чувствовал себя настоящим героем. Окончилось приниженное, угнетенное существование. Не к чему ходить с опаской, подозрительно шушукаться. Он, о. Сергей, теперь попутчик власти. Так говорили на съезде. Теперь можно так устроить, что головотяпские коммунисты станут заглядывать к нему в древне-апостольскую. Во всяком случае, он развернется.

— Не желаете-ли, друг мой, в наш церковный совет попасть? — ласково предложил тут же шкрабу о. Сергей. — Кой-кого оттуда надо будет удалить, а на освободившиеся вакансии хорошо бы посадить представителей трудового населения. Вы — школьный работник, и для нас были бы весьма желательны.

— Да я в церкви-то не бываю.

— Это в прежней, друг мой, а от новой не зарекайтесь. Новый дух с ней будет, животворящий, обновляющий, — дух, который когда-то сошел в виде огненных языков и дал им дар вдохновен-

ной проповеди. Этот дух запечатанный старой церковью семью печатями, вырвался сейчас наружу. Так-то, друг мой.

На Азбукина, очень поддававшегося чужому влиянию, эти слова также произвели некоторое впечатление. Уж лет пять в церкви не бывал, — подумал он не без укора себе. — Надо когда-нибудь сходить, хотя бы из любопытства.

Но тут же червь сомнения вполз в шкрабье сердце. Ведь это говорит о. Сергей, занимавшийся в старое время за приличную мзду и нелегально, бракоразводными процессами; известный всему городу своими романическими похождениями; застигнутый некогда купеческим дворником под подворотней, когда в отсутствие хозяина пробирался к его супруге; тот о. Сергей у которого однажды во время заседания окружного суда, где о. Сергей приводил к присяге свидетелей, внезапно от неизвестной причины из находящихся в поповских карманах пивных бутылок выскочили пробки, и все присутствовавшие с изумлением созерцали, как по муаровой рясе (которую, кстати будь сказано, в Головотяпске перекрестили в «амурную»), клубами повалила белая пена. Неужели на него снизошел дар в виде огненных языков? Неужели он переродился настолько,

что сможет устроить в Головотяпске церковную общину, подобную древне-апостольской?

— Так-то, друг мой, — разглагольствовал о. Сергей, — жизнь великая вещь. Дыхание жизни все изменяет. Помните, как в псалме: «пошлешь духа твоего, и начнется созидание, и обновишь лицо земли». От жизни не надо убегать, потому что она всегда приносит нечто новое и интересное. Вот в нашу мертвую церковь попала капля жизни, и вы увидите, друг мой, какое чудо произошло. Жезл Ааронов, целые века бывший сухой палкой, расцвел. Ближе к жизни все мы должны стоять.

— Значит, приспособиться к новой жизни? — спросил Азбукин.

— Нет, не это, а вот вы раньше сказали, — переподготовиться. Это слово приличнее, лучше, чем приспособиться. Но в сущности, друг мой, важен самый процесс, а не то слово, которым он обозначается.

О. Сергей скоро свернул в тот переулок, где жила его жена, «посторонняя».

IX

Местком работников просвещения собирался обыкновенно в просторной учительской комнате 1-ой школы 2-ой ступени. Когда Азбукин зашел

туда, там сидели, говорили, курили, — собрание шло, как и полагается итти собранию. У стены за столом покоился президиум из трех человек: председатель — лысый, с большими обвислыми усами, чрезмерно спокойный, даже флегматичный человек, — лениво дремал; секретарь, — молодой шкраб, — на бумаге, разделенной графой на две половины, над одной из которых стояло: *слушали*, над другой: *постановили*, согнувшись и водя указательным пальцем по переносице, заносил; товарищу председателя, как и вообще большинству товарищей председателя в свете, делать было решительно нечего: он карандашом воздвигал перед собой дома, церкви; классифицировал человеческие профили и, особо, носы; округлял кошек, сидевших задом и, наконец вырастил такое фантастическое чудовище, что даже сам не мало был озадачен. Он по натуре создан был художником, а совсем не товарищем председателя.

Налево от стола, на трех скамьях, поставленных перпендикулярно столу, расположились наиболее почтенные посетители месткома; здесь был и секретарь местного комитета партии, человек с выпуклым челом и этак чем-то львиным в нижней части лица и голове. Какой у него

был суровый, повелительный взгляд; как пригибал последний к земле встречавшиеся с ним шкрабьи взгляды. Рядом с ним сидело несколько партийных, — сильных, по их собственному выражению, — лекторов.

Пришли они на собрание, потому что на повестке стоял вопрос о переподготовке шкрабов, во время которой они жаждали читать лекции. Народ это был молодой, самоуверенный, из таких, которые с легким сердцем вам скажут: — А что нам Маркс? Эка шутка Маркс! Мы, сидя над полит-наукой, штаны просидели!

Мир шкрабов, копошившийся на месткоме, казался им диким первобытным лесом, куда еще не заглядывали лучи политического солнца, — и они со своих мест взирали на этот мир с любопытством и нескрываемым превосходством. Сидел ученый Лбов и Молчальник и несколько комиссаров, кроме комиссара образования. Тут же по нисходящей линии сидели члены правления с Секциевым во главе: у них был вид гостеприимных хозяев, озабоченно наблюдающих во время обеда, чтобы гости были сыты и довольны. На этих почетных местах и два-три человека правленцев других организаций; — из породы тех людей, которые мучась завистью, боятся, как бы

в другой профорганизации не было лучше, чем у них. Это — совершенно новые индивидуумы, ни с чем не сличимые, появившиеся в результате соединения таких явлений, как Головотяпск и социализм.

Вот сидит председатель союза работников, с тщательно выбритым грибообразным лицом, с сухим, аскетическим блеском глаз сквозь очки. Он — чудесный гончар. Но попробуйте сказать ему: — Василий Иванович, чего ради вы треплетесь в союзе в то время, когда могли бы миллиарды выколачивать на горшках? Попробуйте это сказать, и он, смерив вас с ног до головы проницательным взглядом, ответит вам: — Потому служу, что есть еще элемент, который следует жать.

Боже мой! Какой он сторонник всеобщего экономического равенства, как он следит, чтобы кто-либо из головотяпских служащих не получил лишнего миллиона за участие в комиссии или еще за что-нибудь. Он — беспартийный: он всегда был, есть и останется беспартийным. Но, глядя на его поступки, даже самые заядлые головотяпские комиссары, покрутив головой, говорят:

— Однако!

Когда его назначили членом комиссии по

определению уравнительного сбора, то он на головотяпских буржуев и мещан такие умопомрачительные цифры накинул, что те буквально полезли на стену, а губерния, затопленная жалобами, огулом и вдруг понизила цифры и указала, что на будущее время Василия Ивановича определением налогового бремени утруждать не гоже.

— Василий Иванович, вы же местный уроженец и беспартийный, почему же вы так строги к своим согражданам? — пожалуй, спросит кто-нибудь его — и тотчас получит ответ:

— А революция наша чем отличается от прочих? Тем, что социальная, так ведь? А что такое равенство? А кто такие, в большинстве случаев, жители нашего города? — Буржуазно-кулацкий элемент, который надлежит всячески жать, ибо других способов перевоспитать его нет.

Счел нужным присутствовать на собрании месткома Василий Иванович, узнав, что здесь будет поднят вопрос о переподготовке учителей. — Шкрабы то распустились, — наклонился он дружески к Секциеву, — их бы давно подтянуть следовало.

Доклад делал человек с беспомощно прощупывавшими свои же очки глазами и с незатейливой и чахлой растительностью, как кусты окружав-

шие Головотяпск. Говорил он о необходимости усиления деятельности местного кооператива: протекала в это время кооперативная неделя, острием своим направленная против головотяпского нэпмана, который во рвении и рвачестве был истинно неподражаем.

Доклад… Каким заурядным было это событие в эпоху военного коммунизма, когда обо всех заботилось государство, и все могли посвятить себя высокополезной общественной и государственной деятельности, — событие, имевшее свои подразделения: лекция, отчет, просто доклад, содоклад и пр. пр. Кто только не делал тогда докладов в Головотяпске: делали партийные деятели с достоинством и авторитетно; делали профессиональные деятели — озабоченно и серьезно; делали первые входившие на собрание с улицы люди: на всех жителей Головотяпска спустился тогда дух голубиный и они обрели дар красноречия. Но нэп, принесший всюду сокращение, распространил сокращение и на область докладов. Случилось так, что большинство граждан Головотяпска сразу лишилось дара красноречия. Это совпало с разряжением густых рядов служащих, в число которых до нэпа входило почти все взрослое население Головотяпска.

Ораторы обособились и стали редкостью. Даже союз работников просвещения начал назначать докладчиков на основе профессиональной дисциплины. Докладчик поневоле, — конечно, и после получения бумаги, — продолжал есть, спать, работать, осуждать ближних, покупать сено для своей коровы, но все это творил не так, как раньше, не радостно, а как будто тоже на основе профессиональной дисциплины. Покупает, к примеру, он сено на базаре, совершая попутно сложнейшую торговую комбинацию, которая расчитана на то, чтобы надуть простоватого крестьянина, — приобретая на свое скудное жалованье мануфактуру, меняя мануфактуру на рожь, рожь на овес, и — овес на сено, — и, точно шмель в комнату влетает и начинает зудить в окно, возникает у него мысль: доклад, послезавтра мой доклад. И как и не бывало хитроумнейших торговых операций, а спохватившийся обитатель деревни, пользуясь замешательством покупателя, одерживает над ним нетрудную победу.

А то — садится жертва обедать. Супруга подает суп с ветчиной. Отменная ветчина! Сам собственными руками выкормил. Все располагает к аппетиту: легкий дымок, струящийся над миской, торжествующий вид раскрасневшейся супру-

ги, нетерпеливые возгласы и жесты детей — и вдруг... в ухе некий комар тоненько, бисерным жалом напевает: до-до-до-до-кла-а-ад. Не убьешь, не прогонишь этого комара. Жертва кладет ложку и жалуется обеспокоенной жене на отсутствие аппетита. Лицо опечалено. И дымок, — привлекательно нависавший над супом, куда-то стыдливо исчезает. Позже, когда жертва выступает с докладом, все присутствующие наперебой восклицают: как Петр Петрович изменился! Как он побледнел! Под глазами круги!

Но докладчик, трактовавший о кооперативном деле, был подлинный докладчик — докладчик по призванию. Им Головотяпск справедливо мог гордиться так же как и своими комиссарами. Ему даже и должность такую определили, чтобы он мог специально заниматься докладами, — юрисконсульт при исполкоме, — недавно введенную должность, для которой на первых порах не доставало стола. Когда же стол был сооружен, выяснилось, что самая должность упраздняется...

Думы нашего юрисконсульта, обыкновенно, вращаются вокруг какого-либо доклада. Любит он, крепко любит выступать с докладами. Как боевой конь, заслышав звуки трубы, волнуется и дрожит в священном трепете, — так и юрис-

консульт не в себе, когда услышит о собрании, где можно сделать доклад. Это все знают и, когда в правлении того или иного союза придет из губернии бумажка устроить собрание, прочитать такой-то доклад, и члены правления поникнут профессиональными головами в раздумьи — внезапно кто-нибудь вспоминает об юрисконсульте.

— Доклад-то ведь, об организации клуба? Так? А кто у нас клубной деятельностью интересуется больше юрисконсульта? — спрашивает озаренный счастливой мыслью. А верно, верно! — соглашаются с ним коллеги, приобщаясь к его радости. И расходятся довольные, веселые, а жертва, которую они чуть было не принесли профессиональной дисциплине, спит, ест, пьет, осуждает своих ближних, покупает сено спокойно. Юрисконсульт же делает доклад.

Приступили к обсуждению вопроса о переподготовке, и поднялся Усерднов. Секретарь стал нервно грызть кончик карандаша, и на губах его расплылось фиолетовое пятно; председатель проснулся и рассматривал звонок. По рядам сидевших пронесся шепот, усилившийся позже до говора, — пронесся и сразу зловеще осекся…

Усерднов — в солдатской шинели, высокий, прямой, тонкий, как скелет, наряженный в серое.

Лицо у него бледное, изможденное. Небольшие черные усики торчат неестественно, как у покойника. Глаза тоже неестественно широко раскрыты, и взор остановившийся. Усерднов принадлежал к тем людям, у которых отсутствуют в мозгу так называемые задерживающие центры. Чужая мысль, согретая чувством без помехи вступала в его душу, тревожимую настроениями, которые сменяли друг друга иногда чрезвычайно быстро. Тут было удобное поле для навязчивых идей. Настроения, как волны, смывали у него впечатления мелькающей жизни, но мысль, привлекшая его внимание, высилась среди этого бушующего моря, как гранитная скала. Над ней не только не властны были настроения, но они даже служили ей. И все ветры ловили в свой парус Усерднова, чтобы плыть именно к этой скале.

У стола стоял подлинный подвижник. Но был он из тех, которые рождены, кажется, не для того, чтобы за ними шли, чтобы их ценили, а для того, чтобы вызывать снисходительную улыбку на лицах своих сограждан. Сколько в республике Усердновых! И кто знает, если бы было так устроено, что Усердновы ощущали бы заботу о себе, если бы создан был какой-нибудь орган, который бы, как мать, пестовал Усердновых, (а

Усердновы — дети наивные и искренние), — то, кто знает, Усердновы, может быть, и развернулись бы. Усердновы идут одни: если кто пойдет вместе с ними, то ненадолго. Они, впрочем, к этому относятся равнодушно: они во мраке видят свою звезду, не существующую для других, и каждый провал, каждая неудача больно отзывается на них, больно ранит, потому что нервы у них обострены и психика тонка.

Познакомьтесь ближе с Усердновым, и вы узнаете, что он тщательно следит за развитием своей дочери. Он сам вам покажет сохраняемые им ее сочинения (да, сочинения!) с семилетнего возраста. Кто знает, может быть, в этих сочинениях маленькой детской рукой водила слишком любящая отцовская рука, — на такой самообман Усердновы способны, — но найдете-ли вы еще где-нибудь в Головотяпске подобное явление? Зайдите в его школу в четверг, когда там ведутся клубные занятия и вы узнаете, что в Головотяпске выходит сборник ученических произведений: будто среди крапивы и лопуха вдруг мигнут-мигнут два-три бутона нежных благоухающих роз и докажут, что и на головотяпском навозе могут расти не одни крапива и лопух. Загляните в правление работников просвещения, где

Усерднов работает на основе профессиональной дисциплины, получая в награду разве воркотню и недовольство, и вы увидите, что пустовавшая раньше комната, по соседству с комнатой правления, где раньше навален был мусор (какие-то ободранные шпалеры, стулья без ножек, корки книг) и возились мыши, превращена теперь Усердновым в библиотеку-читальню.

Усерднов более часа утомленным голосом читал инструкцию о переподготовке. Читал он ее уже не первый раз, оттого многое читалось машинально, почти как заученные слова молитвы с амвона.

Какие иногда инструкции сыплются сверху! Как там предусмотрено все до булавочной подробности, до той крохотной коровки, которую без микроскопа и не видать! Сидят себе люди и вяжут-вяжут, старательнейшим образом вяжут частый невод, сквозь который не проникла бы не только рыбешка, но и вода. И посылают потом куда-нибудь в Головотяпск с предписанием: ловите окуньков! И попадает этот невод к какому-нибудь Усерднову, который с удовольствием рапортует: рады стараться! Прекрасное начинание! Половим! И бродит и тащит невод, хотя над ним и издеваются на берегу. Сколько Усердновых

надорвутся на сей работе!

Елозившая неподалеку от Азбукина, пухленькая, приятная, как сдобная булочка, снова появившаяся с пришествием нэпа, в Головотяпске, — учительница сказала вслух соседке, рябоватой, некрасивой и невкусной, как черный хлеб с семенем, которым питались головотяпцы в эпоху военного коммунизма:

— Ужасно! Целое лето просидеть в четырех стенах!

С летом у нее, должно быть, соединялось представление о длинных прогулках, о нечаянных, а, может быть, и условленных встречах, где-либо под сладко пахнущими липами, с «ним»; о том, что волнует девичью грудь в 20 лет; об очаровании жизни, которое проходит, увы, с годами.

— Ничего, — ответила соседка, — начнется война и переподготовке капут.

— Ах, если бы война! — воскликнула булочка и так громко, что Усерднов поперхнулся, а председатель чуть звякнул колокольчиком.

Прочитав инструкцию, Усерднов внес предложение собираться каждый день для занятий по переподготовке. Это вызвало бурю возмущения.

— Целыми днями? — слышалось. — Летом? А когда же мы будем работать в огороде, на сено-

косе? Жалованья-то опять, наверно, платить не будут. Отказать!!! Отвергнуть!!!

— Отвергнуть?! — еще ярче заблистали лихорадочным огнем глаза Усерднова. — Нет, не отвергнете, предписано.

— А если нам невозможно будет приходить, потому что нужно зарабатывать на стороне? — возбужденно настаивали с мест.

— Вообще головотяпские шкрабы хотят от дела убежать, но их заставят. А кто не захочет, отсеют!

— А, вот как! Насилие! — закричали. — Урядник! — кто-то метнул камнем в Усерднова. — Выслужиться хочет…

Глаза Усерднова так расширились и выдались, что, чудилось, они выпрыгнуть готовы. Он машинально одернул свою шинель, которая, точно, напоминала старорежимную урядницкую шинель.

— Что бы вы ни говорили там, переподготовка должна быть и она будет. Всех переподготовят, во всех сферах жизни во всей России переподготовка будет!

На привилегированных скамьях плоско, невпопад зааплодировали, а секретарь укома приподнялся и начал пристально смотреть при-

гибающим взором в шкрабью массу, все еще не успокоившуюся. Это сильнее всяких слов Усерднова заставило недовольных съежиться, проворчав; и в насторожившейся тишине отчетливо, гулко, словно усиленные в тысячи раз иерихонской трубой, рухнули пугающие слова:

— Что это, контр-революция?!

Сколько раз за пять лет взлетали в Головотяпске эти слова. Каким они были всегда решительным шахматным ходом, после которого неизбежно шел мат, — мат, который грозил всякому противоречащему предложению. И, казалось бы, должны были привыкнуть к ним головотяпские уши, казалось бы, должны были перестать от них шарахаться, как лошадь с затинкой, провалившаяся на одном мосту, чурается всех мостов в свете. А поди-ж, стоит и сейчас в Головотяпске произнести это старомодное слово, стоит только при этом сделать, так называемые, устрашающие глаза, — и — вы победили. Противник ваш, своей речью или замечанием взвившийся под самые облака, вдруг падает, словно пронзенный меткой пулей — одним лишь словом. Противник ваш сейчас же боязливо улизнет с собрания, просидит несколько дней дома, если служащий, и на службу не пойдет, сказавшись больным, пока не

наведет окольным путем справок, где следует, что обстоит благополучно.

Секретарь укома тут же вразумительно пошептался с Лбовым и Секциевым. Те в ответ, как мандарины, качали головами, тоже внушительно и грозно, и эти движения также оказали педагогическое влияние на массу шкрабов: она приутихла, выдохлась.

Резолюция, предложенная Усердновым, не вызвала ни одной поднятой против руки. Кризис собрания разрешился на лицах, сидевших на почетных скамьях, напряженное выражение сменилось обыкновенным, слегка важным, слегка довольным. Улыбку, улыбку можно было различить на этих сановных головотяпских лицах. Шкрабы, только что затаившие дыхание, теперь учащенно закашляли.

— А как же насчет выдачи нам жалованья, — поднялся один шкраб, в чертах и жестах которого было столько лойяльности и преданности, в голове столько выдержки и покорности, что когда он заговорил, сановные лица нисколько не изменили своего обычного выражения.

— Если бы нас хоть немножко обеспечили, если бы выдали не весь прожиточный минимум, о котором говорил тов. Луначарский, а хотя бы

половину его, мы согласны бы были целыми днями работать. Мы знали бы, что будем сыты, а это главное.

Шкраб — олицетворение лойяльности, преданности, опустился, исполнив свой долг: он изрек, что следует и как следует.

Поднялся заведующий уотнаробразом.

— Жалованье за апрель вы получите.

— Когда? — раздалось торопливо отовсюду.

— Когда захотите. Можно даже завтра. Только ячменем.

— Ячменем? — протянули недовольно. — Сколько же? Какова расценка ячменя?

— 25 миллионов пуд, а месячный оклад 160 миллионов.

— Небось, ячмень-то из заготконторских складов — изъеденный крысами, — в одиночестве погиб чей-то критический голос.

— Как хотите, — веско возразил заведующий. — Ждите денег.

— А когда можно будет получить?

— Может быть через две недели, а может быть, месяца через два.

— Дороговат ячмень-то, — торговался кто-то, но весьма лойяльно, — на базаре по 20 миллионов продают.

— Как хотите, — еще более веско возразил заведующий.

Василию Ивановичу давно были не по душе возражения шкрабов. Он сидел словно на угольях, и теперь не выдержал.

— Чего еще вам нужно? Все служащие других отделов ячменем берут, а вы что, из другого леплены? Нам некогда с вами толочься.

Когда сановные лица ушли, шкрабы остались обсудить — брать или не брать ячмень. Тут выступил маленький, бритый со всех сторон шкраб. Черные глаза его всегда бегали, мало останавливаясь на собеседнике. Голос у него звучал мягко, интеллигентно, немного грустно. Это он всегда говорил на учительских съездах, — печально, музыкально, словно не говорил, а пел трогательные романсы о страданиях интеллигенции, и выразительно восклицал: — Мы интеллигенты — крупная культурная сила! — А на последнем съезде, обратившись ко всему сонму съезда, сидевших в первых рядах головотяпских комиссаров, сказал: — Без нашего лука и стрел вам не завоевать Илиона! — Это патетическое умозаключение-угроза, вызвала, впрочем, лишь ироническую улыбку. Шкраб, предлагавший ранее лук и стрелы, завел свою обычную песнь

о том, что и тут интеллигенцию обижают: дают вместо 25–20 миллионов, да еще и с ячменем возись.

— Что ж, по вашему, не брать ячменя?

Черные глазки засуетились шибче: нужно было не о страданиях интеллигенции говорить, а практические вопросы разрешить.

— Нет, брать, брать. Потому что иначе, пожалуй, и ничего не получишь. Как в прошлом году за несколько месяцев не заплатили.

X

Шесть пудов ячменя, да если вычесть полпуда ржи на кооператив, то пять с половиной, даже меньше. Вот на них и живи, да еще с теткой, — меланхолически рассуждает Азбукин, выходя из школы. После душной, прокуренной комнаты приятно было выйти на воздух, окунуться в сыроватую тьму, где всюду дышала возбуждающим дыханием весна. На улице еще тяжелее стало Азбукину. Поровнялся было с ним силуэт булочки. И таинственные весенние чары побудили шкраба заговорить с ней шутливо:

— Вы, кажется, жаждете войны?

— Ах, это вы, товарищ Азбукин, — рассмеялась булочка. — А я то испугалась. — Не видали ли

куда ушла Оля Крытова?

Таким тоном были сказаны эти слова, что сразу порвали все весенние чары. Булочка быстро юркнула в темноту.

— Дурак я, дурак, старый дурак, — выругал себя Азбукин. — Чего захотел? В волосах уже седина не на шутку, в кармане только шесть пудов ячменя, на ногах теткины ботинки, на шее сама старая тетка, а туда же? Романы разводить! Не для нас они!

Азбукин поровнялся с домом, в котором до революции помещалась винная лавка, после революции — школа. При нэпе школа была сокращена и теперь национализированный дом с заколоченными комхозом ставнями, вероятно, обмозговывал, почему с ним за короткое время случились такие значительные метаморфозы. Мысль о винной лавке, когда то весело пьяно развалившейся в доме, навела Азбукина на мысль о том бесспорном источнике веселья, к которому прибегали все головотяпские граждане, без различия пола и сословий:

Самогонке.

— Зайти, разве, к Марковне? Будить только… А, впрочем, таким делом занимается, — встанет.

Азбукин осторожно постучался в окно домика, где ютилась Марковна. Ответа не последовало. Слышалось лишь похрапывание, легко достигавшее улицы через окно с одной рамой. Азбукин постучался сильнее, и тогда окно распахнулось и из него высунулась фигура самой хозяйки.

— Марковна, это я — тихо проговорил Азбукин, — Извини, что поздно. Товар есть?

— Есть, — вялым голосом ответила Марковна. — Заходи.

Она засветила лампу и приоткрыла дверь. Азбукин вступил в дом. Здесь прежде всего ему бросился в нос запах тулупа, пота, а затем уж тот знакомый всем запах, которым пахнут небольшие помещения, кладовушки, где в течение нескольких часов кряду спят плотно поужинавшие люди.

— Лучше я уж в сенцах подожду, — сказал Азбукин.

Марковна не заставила ждать долго. Вскоре силуэт ее обозначился в сенцах. Она протянула Азбукину бутылочку и сказала:

— Вот беда-то, посуды мало. Это от лекарства бутылка-то. Возврати пожалуйста.

— Обязательно, обязательно возвращу. А сколько стоит?

— Сколько? Ну, что с тебя лишнее брать: десять лимонов.

— А на ячмень, Марковна…

— На ячмень? Ну, полпуда ячменя. Нужно бы больше, ну да, как служащему скидка. Чего со служащего-то драть?

— Спасибо, Марковна. Завтра притащу ячмень. А только тетке ни-ни.

— Ну, да это… — Марковна не договорила, зевнув. — А товарец забористый. Спирт, ей-богу спит.

— Ну, как, Марковна, дела? — мямлил из вежливости Азбукин.

— Дела, как сажа бела. За товар-то с самой дороже берут. Говорят — страшно. Милиция обыски делает. А сват Максим говорил, что скоро опять казенки заработают. В Москве то, говорят, водочные заводы во-всю работают.

— Тоже переподготовка, — съязвил Азбукин.

— Что ты говоришь?

— Нет, я так… Прощай.

Азбукин вышел.

Закрывая за ним дверь, Марковна еще раз широко и сладко зевнула и прошептала: — Ах, ты господи Иисусе Христе.

Очутившись на улице, Азбукин извлек из

горлышка бутылки бумагу и, понюхав, невольно сплюнул. — Без закуски, — с отвращением подумал он: но потом одной рукой приставил горлышко ко рту, другой заткнул нос как это делал при приеме касторки, и — большими глотками спустил вниз, в себя, вызывавшую тошноту жидкость.

Когда он опрокинул до дна бутылку, несколько минут было еще противное ощущение на языке и в горле, но потом приятное тепло разлилось по всему телу. Закружилась плавно голова, и Азбукин почувствовал себя так, что еслибы ему сказали: пойдем, Азбукин, сейчас на край света, — он ответил бы — пойдем.

Дома отворила ему тетка, по родственному, конечно, представшая перед ним в том одеянии, в каком спала.

— А, п-переподготовка, — заикаясь двинулся на нее Азбукин очевидно имея дело с галлюцинацией, а не с теткой.

— Что ты, ошалел? — всплеснула руками тетка, на всякий случай отшатываясь от шкраба.

— П-переподготовка ты, — твердил тот упрямо.

Тут тетка стала обонять запах, исходивший от племянника, и, поняв, что при данных условиях сражение она может легко проиграть, отправи-

лась в свое логовище, проворчав:

— Опять нализался.

Тем временем Головотяпск спал. Спокойно спали Лбовы, Молчальники, Секциевы, Налоговы, Василии Ивановичи, юрисконсульты, отцы Сергеи, — спал весь чиновно-обывательский Головотяпск, убаюканный мирно журчащей сказкой, которую нашептывала Головотяпа о том, сколько плотов прошло по ней сегодня, какая сочная ядреная, как репа, отдающая самогонкой и махоркой, ругань рвалась с этих плотов, сколько за один только день положили себе в карман господа служащие в учреждении, именуемом «Головотяпо-лес». Головотяпск спал и видел во сне свиные рыла, просмоленные бочки, наполненные синим суслом сивухи, дохлых кошек на берегу Головотяпы, и — не видел того свежего морского простора куда течет Головотяпа, где струятся прекрасные, как видения, большие морские корабли, где дух захватывает от простора и солнца и новой жизни.

Да, новой, совсем новой жизни!

Леонид Леонов
Гибель Егорушки

М. В. Сабашникову.

Каб и впрямь был остров такой в дальнем море ледяном, за полуночной чертой, Нюньюг остров, и каб был он в широту поболее семи четвертей, быть бы уж беспременно поселку на острове, поселку Нель, верному кораблиному пристанищу под угревой случайной скалы. Место голо и унынно, отдано ветру в милость, суждено ему стать местом широкого земного отчаянья. Со скалы лишь сползают робкие к морю, три ползучие, крадучись, березки, три беленькие. Приползли морю жаловаться, что-де ночи коротки, а ветры жгучи, — море не слушает взводнем играет, вспять бежит.

Над Нюньюгом по небу в зимние ночи полыхают острозубые костры сияний северных. За Нюньюгом, в морской глубине летними ночами незаходимого солнца пожар стоит. А по болотным нюньюгским местам расползлась на все восемь разноименных сторон невеликая ягодка клюковка, единая радость голого места за полуночной,

последней чертой. Еще ростет по Нюньюгу брусничка, клюквина сестричка, матушке морошке сноха. Птица, протяжным криком осеняющая нюньюгскую весну, клюет ее. А еще курчавится в зыбинах мох белый. А на самой последней тупине, где ночные воды лижут непрестанно зуб-камень, встала посередь кукушкиных ковров единая сосна, рослая старуха, глухо шумящая на ветру.

Приходил сюда один самоедин смелый, молодой человек, по взбудному следу зверя. Ветер душу его к сосне пригвоздил. Провисела душа на гвоздике долгое множество лет. И состарилась. И скатилась к морю гнилым дуплом, безглазым отрубком.

* * *

Олень не тощ, а нарта справна, а малица не ветром стегана, — выехать тебе из Нели поране, к обеду сумеешь до Егорушки берегом домчаться. Там забудешь под пресветлым взглядом его и про всякую скорбь жития и про то, что с головой тебя завеять сбирается встречный снег в кривом овраге над Выксунью.

Тихое неветреное небо живет в Егоре. Было утро однажды, чайки гнали криком воронью зиму, —

белый ошкуй, на ледяном откосе с Егорушкой встретясь, земно поклонился ему, теленком мыча.

А в пору ту, когда рыхлой земле сырой отроду еще не боле трех дней было, наступил Никола нечаянно, землю дозором обходя, на смутную грань моря и суши первозданных и след свой оставил здесь… Промелькнули потом буйной оравой неуловленные в память дни, канули в пустотные тартарары вся сотня сотен и тьма тем. И в том Николином следу вырубил отец Егорушкин хижинку себе двуглазку и сараюшко к ней. А чтоб неповадно было косоглазым бурьям под крыши заглядывать, придавил он крыши каменными, круглыми лепехами.

Отошел однажды Егорушкин отец, деревянное распятье могилки его еженощно хорява-ветер целует, отправляясь на разбой. Прикупил тогда себе Егорушко карбасов новых два, сплел себе сильны яруса, взял жену себе, узкоглазую Иринью, Андрея Фомича дочь из поселка Нель… Иринья, вот она: в глазах ее щебечут серые ласковые пичуги, сердце-же подобно обители веселых зайчат. Два лишь года отделили Егорушкину свадьбу от нонешнего дня.

Так и живут они. Ходит Егорушка на грудастом

карбасе по заливчику, снимает яруса, а жена ему веслом привычным правит путь. Ветер им песню котенком мурлычет. Волны бегут, торопясь разбиться. Глазу широко, и душе легко.

* * *

Зачнем рассказ свой с единой рыжей осени.

Вечер обозначил лиловой тучей в закате поздний путь свой. Пол-неба в огне, пол-неба в пене морской. А по Нюньюгу расползлись туда и сюда огненных колымаг колеи.

На зализанной морем отмели, возле карбасов, сидят два. Колеблет ровный ветр пасмурную зелень моря и немногие былинки, касаясь и головы Егорушкиной, осиянной светлым льном волос. Торчит несуразно у Ириньи под холостинной юбкой выкруглившийся полной луной живот ее. И это хорошо, что на девятом месяце она. Скоро-скоро, недолго ждать осталось, заплачет маленький на острову. И отмерит Никола рыбной благодати нескупо на сынишку Егорушки, нагоняя рыбу в заливчик подобно весеннему тюленю. Что-ж, выедет Егорушко в утрее время, да и подцепит пикшуя пудов на двенадцать… Вот дивень, на таком и в Соловки обыденкой скатать возможно!

Сидят два. Неторопливым ручьем разговор

идет. Одиночью не замутить сердец их.

— Сергей-то Яковлич, хорошо, мучки догадался.

— Наказывал я ему про мучку, с весны еще наказывал.

— И сахарку тожь. Для маленького-то ко времени подошло.

— И сахарку.

Золотой буерак в небе из пены вылез. На нем замечательный, неувядающий расцвел раскидисто небывалый огненный цвет.

— Егорушко, слышь, звон идет.

— Зво-он!

— Може с Кондострова то? В набат колотят?

— Пора не пожарная. Вечерний то звон.

Порождая смиренство духа на встречных кораблях, на малых островах, на рыбных ловах, в кораблиных становищах, идет по соленой ряби моря ледяного Саватеево благовестие.

Побурели болотца радужной ржой. Тащут ветры в синие погреба грузные ижемки свинцовых облаков. А небо великим пожаром журлит, клокочет цветным как пасхальная в Нели ярманка.

— Иринь, а ведь пора-б ему быть. Когда девятый минет?

Круглым животом ластится к мужу Иринья:

— Пора, пора. Парус ставлю намедни, а он и трепыхается, птенчик-то! Чать, в неделю эту придет.

Взрезали тут, там и еще подале зеленую гладь острые, играющих рыбин хребты. Заплескалось, ослепляя, драгоценное, потухающее каменье.

— А назовем-то мы его как?

Егорушко думает:

— Варламом мы его назовем.

— Так ведь, может, девочка придется!..

Машет Егорушко рукой:

— Ну вот, скажешь тоже, девочка. К чему-ж девочка, раз мне в помощнике нужа!

Тихо улыбается Иринья, полузакрыв глаза. Как в бреду:

* * *

— И будет он Варлам Егорыч зваться… И будет он на быстрых елах по белым морям ходить. Женится…

Радость низошла на Нюньюгских двух.

— Шняку себе купит! Намедни в Нели норвежин один, пьяный, шняку свою продавал. Отец сбирался купить, не знаю. Хорошая шняка, птичкой, зря не купил ты!

— Пьяный мне не продавец.

Чайки плещут крыльями по серебру. Идут в закат стадами сгорать золотые невиданные звери.

— А што я думаю, Егорушко… До неба, небось, и в пять годов не дойти, каб лесенку туда приставить?

— Хе, жена! Откуду-ж плавнику ты на такую лесенку наловишь. Туда лесу прорва пойдет!..

Под простором белых крыльев ночи Нюньюгской не цветет, не расцветает алый цвет. Зато невидимо расцветает по Нюньюгу маленькая душа Варлам Егорыча. Ну-да, ну конечно! Станет Варлам Егорыч бородатым промысловым купцом, суровым капитаном своей посудине. Будет он низкое небо мачтой веселой елы чертить, будет процеживать ветровые потоки парусами, а море карманами. Будут здоровкаться его покрученники со встречными в ледяном море караблями:

— Ма-арк Кузьмичу, на-аше ва-ам!..

— Варлам Егорычу, пожалста, здравствовааать…

— Как пожива-аешь Варлам Егоры-ыч?

— Ничево-о-с! Никола не забывает да Елисей Сумской…

Нюньюг, ты, Нюньюг, рыжий теленок, унынный ты! Через двадцать восемь ден отстегнут

морозы пуговку-клюковку. Выскочит и оглянется белый зверь. Синим, снежным облаком пушистым разволнуется болотная твердь. И замрешь и повянешь под черным небом не проходной ледяной стороны.

* * *

Потому-ли, что была то пятница первозимнего октября, ночью взбесилось море, взбеленилась бурья, закричала больно, как полярный сыч глазастый в куропачий силок попав.

Словно-б море зубами скрипело, — трещали, сталкиваясь, в обширных пустынях ледяные тороса. В брюхе у Сядея урчало с голоду, — волны исступленную пляску на отмелях завели.

Ветер слонялся и проваливался в бездонные ржавые кисели. Злился, смаху бил по средине воздуха, по киселям, по рыжему, покорному теленку. А воздух несся и гудел подобно ошкую, ужаленному меткой острогой прямо в глаз.

В такую-то ночь и опросталась Иринья. К утру заплакал маленький Варлам, и громкий плач его сменил трудные стоны Ириньины. И улыбнулась мать, услыша плач тот.

Восписуется в небе первой радостью радость матери, а второю радость впервые узревшего

свет.

…В то-же утро пошел Егорушко на колодезь за водой, для надобностей Ириньиных, с бадьей, а вернулся с ношей. Была ноша черна, на голове-же напяленный клобук воду высачивал. Сама-же ноша кряхтела сильно, словно не Егорушко ее, а она Егорушку тащила.

Повалил ношу на пол:

— Счас вернусь. Пускай полежит человек сей. Бадью захвачу!

Приподнялась Иринья на печке, видит: лежит человек монах. Облепила черная крашеная толстина занемевший его сухожильный костяк. Растекается лужа по полу, из под рясы-же торчат узкими носами вверх на деревянной подошве бахилы. И вот открыл правый свой, потом левый глаз и пошарил Иринью невидящим взглядом и всем животом под намокшей толстиной вздохнул, и встретились взгляды, два. Ребенка от груди оторвав, потому-что ахнуло внезапь испуганное сердце, воскрикнула Иринья — выскочили два слова и глаза человечками выпучили:

— Ты кто?

Сквозь семерых передних зубов гниль, сквозь рыжую щетину моржовых усов, словно горстка воды перелилась, сказал синеющими губами:

— Слуга богов.

Не остановилась Иринья:

— А черный зачем?

Закрылись глаза, ноги колодками обозначились по мокрой рясе, замер деревянный лик, имеющий подобие осенней тундры с чахлым кустиком облетелой, осенней сихи под губой. Лежит безответно морской подарочек, сопит. И вот страшно закричала Иринья и ребеночек звонко заплакал, ручонками тарахтя, вместе с матерью.

Тут Егорушко взошел. Закидала его Иринья словами.

— Егорушко, зачем он тут? Зачем у него глаза голые? Маленький напугался наш…

Бадью на лавку, чебак на гвоздь —:

— Бурья его к нам выкинула. От Саватея, небось, монашек то. Пущай, не трожь, приютить надо. Со вчерась лежал, головой сюда, а ноги в воду.

Утро тянулось в окна серым, закрученным в жгут полотенцем. Капала с него по капельке тусклая поганая муть на душу. Днем, когда отобедали —:

— Егорушко, ей не лгу, на лукешку он похож! Я на картинке, в девках, у отца видела. Ты-б его назад снес, ну его!

Упреком распрямились Егорушкины глаза:

— Зима, куда ему ноне?

— Егорушко, боязно!

— Самой себя бойся, люди не причем!

Так и было порешено об Агапии-монахе, в котором сызнова начинало биться сердце.

А на синие берега выползал мочливый ветер. Облака неслись, опускались за краем и наново выбегали с обратной стороны. Туманилась и блекла крайняя черта моря в мелких и частых переметах дождя.

* * *

Упрямо, угрюмо и гордо, с Успеньева дня до льду, бороздят крепкими носами промысловые суда осеннего тумана ледяную зыбь. Шарят сети тонкими пальцами по дну, вытягая полезную людскому брюху тварь. Гонит тогда прямо в сети обезумевшую рыбу тюлень.

Большому кораблю все моря от края до краев путь, но Егорушке заказан лишь кусочек тот водного места, у которого сидит домок его.

Вчера сказал Агапий Егорушке, из за стола встав:

— Конешно, постник я, поелику возмогаю при немощи тела. Однако не желаю и корочку хлебца у тебя задаром есть. Буду тебе помогать в делах

твоих.

Ему Егорушко всем сердцем:

— Дело твое. Хлебом не затруднишь, рыба — вон она. А за подмогу спасибо, Иринье с маленьким легче!..

Так говорили вчера. А ныне ходит уж карбас по ярусам, сбирает дань. В карбасе двое, и вторым, на веслах, Агапий. Уж больно дикой он в чебаке-то, — чистое водяное пугало, рыжая голова.

Тянет намокшую, медленно, тяжелую веревку из-за борта Егорушко, Агапий-же глушит колотухом несчастливых рыбин. Когда бьет, складываются губы его твердо, одна на другую. Плещется рыбная благодать серебряными боками, и все глубже усаживается карбас в упругую зелень вод. А вперемежку, между ярусами, ведут они разговор. Агапия слова суровы и остриями тверды:

— Вы так, значит, без церквы и живете?

— А для ча?

— Для ча, для ча… Грех молить!

Засмеялся Егорушко:

— Гре-ех? А ну те, монаший ты человек, к богу в рай!

Ходит карбас утюгом. Осенний ветер брыжжет пеной над головами, дует свежестью в ноздри

рыбаков. Нашел Агапий, что искал:

— Вот смеетесь вы часто. Иринья вчерась в захохот чуть не впала. А Исус, скажи, знали-ли от смеха уста его?

Карбас беззвучно к ярусу подскользнул, снова зашевелился Агапий:

— Тебе правила-т подвижников как, жук нагадил? Паук наплел? Василь великий смех-от запретил, тебе как?

Кустик под Агапиевой губой к носу задрался, а глаза прижали к доске тихую душу Егорушки. Нет слов у Егорушкиной души, он молчит.

Под взмахом гибкого весла, в порыве верного ветра идет к берегу рыбарья посудина, внезапным парусом указуя жизнь на дальнем сем море. Когда к берегу подходили, Иринью с младенцем, сидящих на берегу, завидя, молвил Агапий как-бы невзначай:

— Дохлый у тебя паренек-то. Не выживет!

Когда говорил, дрожали у него руки крупной дрожью. Когда сказал, семь больших раз и еще два раза завертелась в ветровом водовороте случайная чайка, в смертной судорге упадая на крыло.

Громко закричало Егорушкино сердце: зачем ты говоришь мне все это, зачем?..

* * *

Затягивает тина морская белых ночей решето… Море темнеет ликом, рыба уходит в глуби, небо, затяжелевшее ночью, нависает вниз.

Сломала первая метель недолгого лета весло, зашвырнула промысловые суда в серые кораблиные закутки. Гнусавую песню о всех погибающих в море, о всех разбивающих душу свою о камень, тянет ветр.

Клочьями мокрого снега рассыпались над Нюньюгом остатки октября. Ледяной коростой устилают морозы свирепым братьям-декабрям путь. Опустели окружные камни, птиц нет.

Приходит ночь, встает ледяное молчанье, — клюковка пала, мороз ей ниточку перегрыз. Начало наступило.

Шаманит тундра, а в мерзлом воздухе олени роют снег. Стоит на сугробной дали Сядей — Махазей вьющимся снежным столпом, слушает, как плачет маленький Варлам Егорыч у отца на заливчике.

Еще он слушает, как поет самоедин в нартах, уныло и длинно на пути к чуму своему —:

«У меня триста оленей. У меня к осени будет пятьсот. У меня в чуме много добра. Я убью нерпу

и продам Марку, а Марк мне даст водки и острый нож… Я пойду на лед и добуду ошкуя. Будут говорить русаки: Тяка ошкуя руками и задушил. А я буду сидеть на его белой шкуре и точить нож, который мне даст Марк…»

Еще он слушает, как колдует в становище Нель потный шаман в душной избе, беспамятно скрежеща ногтями в бубен.

Потом в снежном затишьи, — неизвестно: зверь, птица или ветер, — был крик.

* * *

Паром застоялась изба. Пар идет из плошки, а в плошке щи. Сидят вкруг три живых человека, с половиной. За половинку считай Варлам Егорыча, друг!

Тянется ручонками на кашу Варлам Егорыч. Тихо внутри себя смеется Егор. Полная материнской гордости улыбается Иринья.

Как-бы просветлившись, берет Агапий на руки ребеночка, кидает, подкидывает вверх-вниз, самже затягивает грубым, как канат тугой, голосом:

— Ходи в петлю, ходи в ра-ай…

Остановится да подмахнет рукавом и сызнов, словно и нет у него других песен:

— Ходи-и в дедушкин сарай…

И вот негромко, но все неистовей и громче, зашелся ребячьим плачем Варлам Егорыч. Покраснело голенькое, анисовым яблоком, маленькое тельце. А тот все:

— В петлю… в рай…

Встрепенулся в страхе внезапного понятия монаховой сущности Егорушко и крикнул:

— Не пой, не пой так, Агапий!

А уж поздно было: и смех и горе. Вышло, что замарал ребеночек Агапию черную рясу его ребячьим. Тяжело, Агапий, дух переводя, поворочал язык за скулами, потом ненужную допустил усмешку на деревянное свое лицо.

— Не петь…? а тебе што? Тебе анхимандрит грамоту из шинода прислал, чтоб не петь?

Набежала тучка на слабый Егорушкин умок:

— Да нет, не присылал… Ох, поди, вытри рясу-ту, поди снежком. Изместил, вишь, тебе Варлам Егорыч!

— Что-ж, и поду, и вытру. Не годится на монашьей одеже подобный орламент носить.

Иринья, ложку бросив, сует Варлам Егорычу полную грудь, но тот кричит, захлебываясь и замирая. Покуда оттирал Агапий шаршавым снегом ребячий поминок, зябко топчась на снегу, пришло Егорушке спросить и спросил в вечеру:

— Агапь, ведь ты поп?

— Поп.

— А где-ж он, крест-от, у тебя?

Смиренно опускает глаза Агапий; неслышно, но слышал Егорушко:

— В море потерял.

* * *

Затягивается ночь, как петля, на шее всяческой души.

Спят в избе, а за избой всякие нечаянные звуки сторожит тишина. Шла большая ночь и шла маленькая. Среди той, большой, и среди этой, маленькой, проснулся Егорушко, словно за руку его кто потянул и сказал: выдь и слушай.

В душном сонном мраке похрапывала долгим и ровным храпом Иринья. Не выдалась ростом Иринья, да не даром из колмогорских Андрей Фомич: грудь у Ириньи крепкая и тяжелая. Ей помогал, подхрапывал по мере сил, Варлам Егорыч: отставал, нагонял, опережал даже порою.

Во тьме пощупал место рядом, на полатях, Егор. Заморгал, удивляясь: пусто место, нет Агапия. Соскочил разом и пимки словно-бы сами на ноги ему наделись. Подбросил в очаг поленце на пламенного уголья потухающий тлен. И не

скрипнула дверь, и другая в сенях не скрипнула… Вышел и напряг ухо.

Высоко, от моря этого до всех других ледяных морей, шатались, ходили, местами менялись смутные морозные столбы. Была такая тишина, что, если-б крикнуть, не погас бы звук, покуда не устало-б слушать ухо. Сердцем угадав за сараем Агапия, пробрался Егорушко, согнулся и выглянул. Не обманулось сердце.

Черный и клобучный стоял голыми коленками в снег, а лицом в поле, Агапий. Руки порой вздымая к полыхающим кострам, звал он кого-то, застывая льдом. И то падал всем костяком в полый снег, то закидывался назад, обнажая деревянное лицо, обостренное мольбой и мукой. Было чудно глазу и непостижно уму видеть такое, и не поверил Егорушко. Схватив снега горсть, сунул в горячую пазуху. Когда же обожгло там холодом, замер, прислушиваясь —:

«И еще известил меня дух твой, что Егор с Нюньюга сыном твоим наречется. Не могу преступать путин твоих, но молю. Пусть в горниле испытания умудрится дух его. Пусть…»

Не от слов-ли безумного Агапия бушевало все сильней и сильней морозное пламя неба?…

«И пусть умрет сын его, Варлам. Пусть порвутся

яруса его и лопнут щепьем карбаса его. Пусть останется с единой душой да с телом. А тогда ударь его в голову…»

Не дослушал Егорушко, выбежал к заливчику, рухнулся всем лицом в острый снег. Ужалил его снег тысячью тупых игл в колени, в руки и в лицо. И возопил он голосом, полным дикой тоски:

— Эй-ва, вы там! Господин Никола милосливый, Зосим с Саватеем, настоятели, — дайте немому слово сказать. Ничего не боюсь, все пусть! Эй-ва, только бы мне насчет Варлам Егорыча…

Не знал продолженья мольбе своей нюньюгский Егор. Встал. Растаявший снег жег кожу за пазухой. Огляделся: синее безмолвие висит, а ночь идет, а на снегу отчетливы собственные следы.

Вошел, а монах уж на полатях под малицей ворочается. Хриплым спросонья, не своим, голосом, словно полуда в глотке отпала, закашлялся надрывно Агапий. Прокашлявшись, замолк, и сказал ему Егорушко, как-бы оправдываясь:

— До ветру ходил. Светлынь на дворе-то!

Агапий почесал ногу, потом отвечал:

— А я тебя во сне тут видал. Будто снимки с полагушки сымаешь…

С печки сонно спросила Иринья:

— Полагушка-то как, с верхом, ли наполовину? Не полна, так болесть в дом!..

Агапий не отвечал. Маленький с плачем заискал материной груди. Опять закашлялся монах, колодой подкидываясь на досках. Егор все думал о чем-то и не мог додумать до конца, думалки не хватало. А Иринье виделось: идет странник, — сзади крылья, спереди собачья голова. Тут жучок ползет. Странник наступил сапожком и прошел. Вели блистающие крылья собачью голову вперед…

К утру забыла сон свой Иринья, — тому не до снов, кому хлопот полон рот.

* * *

А по прошествии восьми ден весело гудело самопрялково колесо, прыгало проворное в ловкой Ириньиной руке веретено, и тянулась нитка как ночь, а ночь как нитка. Шла та-же большая ночь, и не ближе была весна, и не короче пути снегам.

Егорушко из пыжиков шапку Варлам Егорычу кроит. Жадно и сухо горенье Егорушкиных глаз. Агапий повествует на память не громко, водя перстом по воздуху, и глядит глазами в трепетную тьму углов. Коротко и трескуче горение жира в плошке.

«…довелось читать в старой книге Вила, игумена Лифазоменского монастыря. В стране, имеющей имя Египт, произошло так. Был там искусный музыкант, Василид по имени. Слава о нем шла до самых Белых Гор. Он радовал уши египетцев чудными песнями из инструмента своего, покуда утробы их наполнялись мерзостями пищи…»

«Однажды пришел Василид от одного вельможа, осыпанный дарами, сел и почуял мысль о смерти, которая не спит никогда… Тогда разбил он с плачем дивный свой инструмент, роздал нищим богатое изобилье имущества, сам же сел на горбатого зверя велбуда и поехал к старцу Патфитану, который ушел в пустыню искать скорбь. Приехал и сказал: авво, укажи путь мне!»

«Сказал старец: роздай нищим пожитки, приходи ко мне. Я живу в темной змейной пещере. В одном углу живет птица стратон, она приносит мне пищу. В другом — лев, он охраняет меня…» Сказал Василид радостно: «все оставлено, опустошена жизнь. Нет у меня ничего, кроме как в душе любовь к малой моей дочери». Сказал старец: «разбей о камень душу. Возвратись и заколи дочь свою и приходи ко мне. Иди и делай.»

«…погнал Василид велбуда. Трижды останавли-

вался на пути, крича в небо: Авво, дочь — единый мне свет в близкий канун мрака! Но молчало ему, и с новой силой загорался в нем…»

«…приехал, вошел в дом и вознес нож над спящей дочерью и не мог сперва. Оглянулся, жутко ища, — не видать нигде, ни в углах, ни под матицей, десницы, протянутой удержать нож. Тогда, крича сердцем, ударяясь душой о камень…»

«И вошел нож в дочь его. И умерла та. Снова на велбуде бежал Василид к старцу. Лев облизал ему убившую руку, а птица стратон поклонилась ему. Так разбил душу свою музыкант Василид в рыжей стране Египт.»

Звонко-звонко тут залился маленький на печке, подтвердило ветром в трубе. Ахнул, на пол приседая, Егорушко, визгнула с разбегу самопрялка, замертвевшим колесом порывая нитку. Пошел Агапий к ушату, зачерпнул ковшом и выпил, потом вбил последний гвоздь лжи своей:

— Справедливы дела времен прошлых по вся дни!

Склоняясь головой, спросил Егорушко с надеждой:

— Хорошо сказываешь, как по книге. А старик твой безумный что?

Нехотя продолжил Агапий:

— Старец? Когда нагнулся Патфитан обнять Василида, возрыдавшего перед ним, не принял тот поцелуя. Вскочил Василид и проклял имя бога Патфитанова. И до конца дней ходил он по земле, сам себя отвергая от путей к небу.

Расступилась тишина и в нее вошел клином стон Егорушки:

— Как-же все вышло-то так?

Словно прямую черту провел, отрезал монах:

— Так вот и вышло.

* * *

Каб родился Исус не в Вифлеемской земле, а на Нюньюгской, не пришли-б к нему волхвы на поклоненье. Но пришел бы Егорушко, принес-бы пикшуя в пуд. Пришла-б бобылка Мавра из Нели, принесла-б морошки лукошко, да клюквы короба два. Пришел-бы самоедин Тяка, третьим пришел бы, подарил-бы Исусу пимки малюсеньки да песенку-б спел про себя, про Тяку веселого.

Днесь рождается царь на Нюньюге, Исус имя ему. А морозы белыми козлами тундру жуют в тишине Вифлеема Нюньюгского. И гуляет, гуляет по всей бескрайней снежной глубине легкий вьюжный вьюнок, белый медвежонок.

В полночь выходили Агапий и Егорушко с же-

ной к снегам петь о Рождестве. Славили, стоя лицом к востоку. Егорушко смотрел в ночь и все хотел легким тенорком поусердствовать, Агапий же скрипел, словно бочку-тресковку с дробью по земле катал, пугая Варлам Егорыча, сидящего на руках Ириньи… Выходило так: два младенчика, быть одному из них рыбаком, быть другому царем. Поймает рыбак рыбу и принесет царю.

Но к пробужденью упала та звезда, которая с Вифлеемской хотела в шаг итти: заболел Варлам Егорыч. Лежал, хрипло надувая тяжелым воздухом живот Егорушкин первенец, борола его болезнь. А был-ли то утин, или горлянка, или черный монаший сглаз, — не дознаться было. Каялась после ужина мужу Иринья:

— Мыла его, побежала… стукнул кто-бысь в окошко, дверь не прикрыла…

Но молчал Егорушко, обезумел в нем дух. Не переставала течь бабьими неутешными слезами Иринья. Восписуется в небе первым горем горе матери, а вторым — закрывающего навек глаза.

Запоздно, перед сном, подкараулил Егорушко Агапия в сенцах:

— Слушай, Агап. Я помру — сгнию, ты помрешь — лишний чин примешь. Но съели-б рыбы тебя и праведность твою, когда-б не я о прошлую

осень..!

Спросил Агапий:

— Жалости просишь?

— Не жалости, а правды. Был ты слаб, а я силен, теперь я слаб…

Усмехнулся Агапий:

— В хлебе попрекаешь?

— Не в хлебе, а к разговору токмо…

— То-то, к разговору! Вспомни Василида и не дай умереть душе.

Сказав так, внезапно чихнул Агапий и вышел в дверь.

* * *

Вот пошли двое на тюлений лов: ходили долго, видели лед, не видать было зверя. Держали остроги да крючья наготове, а некого было бить. Уж собирался назад Егорушко, как вдруг выникнул из промыва усатый мурластый морж… Хотел бежать морж, да замешкался самую малость. Тут и зашвырнул ему Агапий острогу в угон. В скорости был морж положен на санки и волочен к дому.

Егорушке с утра, как встал, сердце щемит. Ныне-же, идя с монахом по охотничьей узкой тропке, постигает Егорушко неисповедимые пути Агапиевой справедливости… Важно, как сосуд

небесный, несет Агапий свою голову; глуха речь его, а слова остриями тверды:

«…затрубят витые трубы на низкие лады. Восстанут моря от лон, упадут на города. И будь ты хоть солдат, хоть праведник, аль в новехоньких полсапожках, все мы снидемся тамо, на судилище…»

Покорно тащит тяжелые сани по еле заметной тропке Агапиев слушатель. Зубчатой ледяной стеной, золотым гребнем, радужной лентой возгорается и перебегает небо. Смотрит мертвый морж в ночь, а ночь идет над ним спокойная, ровная, не в обхват большая, бесшумная, как на лыжах.

«… утренней зари сам Савоф. Солнце покажет красный язык и умрет, — тут уж не надо солнца! Выйдут силы и тьмы и протянут над миром мечи свои и сабли. А в мире будут стоять тьмы и толпы народу всякого, мужики и бабы. Изыдет Сын и сядет одесную…»

Очи широко в снежную тьму раскрыв, остановился Егорушко, изнемогло в нем сердце. Остановился и монах. Рукой в варежке так и рубит он морозный, тугой воздух.

«…Отец сыну. И повторят горы речь его: Сын мой, Исус. Ты приходил к ним светом тихим, а они гвоздями тебя… Ты висел, Исусенька, страдая

и зовя, а я сидел вон на том облаке и бороду себе рвал. Не мог я остановить пути твоего. Ныне-ж пришел я распять их…»

Ждет Егорушко, шатает его. Словно оловом каплет жидким Агапий на голый череп Егорушкиной души.

«… и промолчит Исус…»

— Врешь!! Ты мне вчера то же ко сну говорил и я тебе не верил… Агапка, дьявол, сукарь, врешь!..

Так закричало неистово ущемленное Егорушкино сердце. Весь трепеща крупной задрожью, бросил себя камнем в сугроб, ища там приюта помутившемуся взору своему. Склонясь над кричащим человеком острова Нюньюга, шептал глухо и страшно Агапий:

— Успокойсь, парень! Тебя он в перву голову к себе позовет. Подь, скажет, Егорушко, ко мне на два слова…

Стеная, навзрыд кричал человек в снегу:

— Не хочу, не хочу. Пускай моего Варлам Егорыча назад берет!..

Долго они так: один кричал, другой уговаривал.

А когда подъезжали к дому с моржом, выскочила с воем простоволосая Иринья. Закатились у ней глаза. Крепко прижав к полной напрас-

ным теперь молоком груди голенького Варлам Егорыча, завизжала, порезая безмолвие ледяное криком, как ножом, — завижжала сильно:

— Помер!! Варлам Егорыч помер…

Запушила пена Ириньины губы, и упала баба не сгибаясь наземь и загрызла зло и жадно снег. А Варлам Егорыч, богатый промысловый купец, скатился к санкам и там застыл личонком вверх.

Неугасимо колебались в безветренных вышних пустынях желтые и в прозелень синие широкие столбы.

Подуло холодом. Бормотал Агапий молитву, избавляющую от удара. Иринья лежала, как спала, а поодаль, заснувшая навек, лежала мертвенькая благостынька нюньюгского рыбаря.

Не знал, где потерял свою ушанку Егорушко. Все силился вспомнить и не мог. А вдруг увидел: шевельнул мертвый морж оскаленным, закровянившимся клыком и подмигнул тот, другой, рядом.

Два дня, раскинув руки по снегу, выла баба на острову.

* * *

Загоготала малица, спрыгнула с нарт. За ней совик прет, кулек несет, порядочный кулек.

— И-га-го! Здорово, кобелики! Стречай тестя, кунья голова!

Олени паром зашлись, заморил их Андрей Фомич, чуть хорей не поломал, в зады им тычучи. Вошла малица в дом, легла малица задом на пол.

— Стаскивай малицу-т! Какой ты есть зять? Ох, да рук то пожалей, — небось самовару и тому рук жалеешь… А я еще бегаю, живой… И-га-го!..

Соскочила малица с крикуна, очутился в избе толстый мужичина, карнаухий, — пьяного семь лет назад сова цапнула, сам сказывал.

Андрей Фомич Иринью мокрыми усами и бородищей чмокнул. — «Грешн человек, до баб я слаб, слаб — зато и ласков». Егорушке руку повертел. — «С чего, паря, носом в зубах ковыряешь?» Руку повертел и всего прижал, обжигая винным духом щеку. Увидел монаха, устремился на него залпом:

— Монах-в-клобуке, Енарал Кузмичу. Здорово, чудак-рыбий-глаз, отвечай — здравия желаю!!

Обиделся Агапий:

— Я тебе, купец, не рыбий глаз, а слуга богов.

Загрохотало, словно телега с бочками опрокинулась. Кланяется купец низко, рукой до земли:

— О! когда так, отцу-монаху мир, пойдем в трахтир! Молчу, молчу, отбрил во все концы…

А сам Егорушке на ухо:

— Хорош у тебя работничек, ничево кобелик. Отпоет и не услышишь!

Вдруг огляделся Андрей Фомич:

— Да вы что, рыбья чума вас одолела?

Отвечает за всех Иринья, всхлипывая и глядя в пол:

— У нас тут ребеночек помер, четвертый день нынче, как зарыли…

Не понимает Андрей Фомич.

— Я что-то не пойму, чей ребеночек? Монахов?

Будь у Агапия рот пошире, проглотил бы купца и с пимками и с ремешками. Иринья:

— Не-е… наш ребеночек, Варла-ам Его-орыч..!

Помолчала Андрей-Фомичева туша, хлюпнула раздумчиво губой и вновь смехом разъехалась.

— И-га-го, греховодники, а я то думал… Выходит — ладил тесть на новый год, попал на поминки. Та-ак! Помянем, помянем молодого человека. Эй, черный, кадило есть?

Пуще насупился ушатом черный клобук:

— Отстань. Ответишь.

Взыгрался Андрей Фомич:

— Ох, да не гляди ты сычем на меня, еще напужаешь. Вишь, я слабенькой, меня черным взглядом насквозь проткнешь! Но какой же од-

нако есть ты монах, бескадильный-то? Жулье, водопровод, значит! Ты не серчай, нечего тут. Андрей Фомич глазом видит: духовный финьян, а либо гусь лежалый..! О-он ви-идит!!.

И даже толстым указательным перстом с серебряным обручем покачал Андрей Фомич перед самым носом обозленного Агапия. Все молчали и сопели. Вдруг у тестя недоумок на веселую половицу встал:

— Эха, уж и накачаю я вас ноне. Чтоб в голове шумело и в пятках темно было, накачаю! Григорий, ты што-о гробовиком в дверях стынешь? Вынай балалайку, куль разгружай. Балалайка-то цела? Я надысь чуть голову Гришке балалайкой не пробил, баловаться винишком стал. А ну, дай ему дочка посудинку под водку. Э, да нет, покрупней тащи! Давай сюда, в чем младенца крестили, во!

Над Нюньюгом в небе вдруг погасли огни. За Нюньюгом в море ухнуло отдаленно, и узкорылый серый зверь стал красться обходом на избу. Вязкие и низкие, над самой головой, скрутились жгутами тучи. Будто ударило по барабану, заплясал передний вал, прищелкивая ветром. Собаками зарычали овраги. Поднялась тундра…

А в избе затихло. Сердце просит упокоя, стонет

жалобно душа. Булькает ледяная водка в выпрямленное Егорушкино горло. Вскакивает он и опять садится. Всем своим объемистым животом налез на него через стол пьяный тесть.

— Как, жжется?

— Ух, Андрей Фомич, здорово жжется!

— Так, воистину. Селедочки возьми, а то и семушки. Ну как играет?

— Играет, Андрей Фомич, очень. Чихнуть охота!

— Ничего, чихни. На, пей еще. Да сразу, как из ружья стреляют, пей!

Булькают, друг на дружку налезая, глотки. Руки потирает, языком щелкает Андрей Фомич. Жадно глядит в винную посудину полупьяный Агапий. Иринья кашляет, жалобно и стыдливо загораживаясь кулачком. Всю душу навыверт вытряхивает Андрей Фомич:

— Пей, дочка, на-ко тебе вот наперсточек, не ломайсь! Был бы муж, а ребята будут! Эх, глядеть на вас глаз ломит. Рази в наше время так пили? Моему дядьке ворон под Кемью глаз клевал, а он и не слышал, выпимши! Так рази-ж так?! А ты, Гришка, ну махни по струнам, приходите девки к нам. Шпарь и жарь и самоварь… Нну!!

А за стеною свирепеют дали. Первым ударом

в бок избы опрокинулся ветрового прибоя вал. Снеговые колеса заскакали по тундре бешено. Белые козлы по пятеро в ряду копают снег. Ах, и как тут не пить, как тут не кричать, головой не биться о каменные локотки, коль от земли до неба полтора вершка!.. Потому и душе приволье, хоть рассудку и теснота. Весь клокочет, распухая, тесть:

— Даве еду… и-га-го! над Выксунью, а изо льда личность на мене глядит. Я ему — ты что, чоррт?! А он мне — бя-я, бараном, сволочь, ословый хвост!! Напужать мене хотел, умо-ора…

Иринья, с непривычки хмельная, Егорушку за шею потными голыми руками обняв, лопочет, а глаза у ней смутные:

— Егорушко, другой у меня скоро… Варлам Егорыч будет… Чую, будет!

Трудно лоб наморщив и губы поджав, отстраняется Егорушко:

— Не трожь, не трожь…

И Агапий, — налилась бесстыжая слякоть в небесный сосуд. Кряхтит он на ухо Егорушке:

— Плюнь ей в глаза, срамотной. Другую завтра вымолим, плюнь!

Гуляет и уж пляшет в одиночку Андрей Фомича живот:

— Дда, я ему: ты что, чоррт..? А он мне… Эй Гришка, поддай, поддай, грызи струмент в глотку. Дочка, становись! Андрей сам Фомич плясать будет. Вы рази мужики? Вы кто? Кобелятки!! А я? А я — будьте здоровы!.. И-га-го…

Подмахивает платочком Иринья, зыбким оловом глаза налились. Похаживают Ириньины пимки по кругу, — дзинь, брынь, тарарынь, ты пляши, пляши, Иринь! Агапий палец грызет. А Гришка, потный весь и очумелый, в конец балалайку меж ног задавил. Пищат струнки от такого обращения, а одна все прыгает, все прыгает.

Поддудакивает балалайке тесть кулаками по собственному брюху, стаканы зеленым звоном звенят. А вот и сам пошел…

Бурлит во тьме за стеною, снежная яростная пьянь. Карбасу лежать невмоготу стало, пляшет он, гуляет восьмеркой по берегу. Сдвигаются тороса теснее в груду, хороводной оравой на Нюньюг… Держись, Нюньюг, держись малый, держись, кунья голова!..

Дым коромыслом, спина горбом. Андрей Фомич в присядку, брюхом по полу, идет. Не рак клешнем, не морж хвостом, ногами половицы разметает на стороны тесть.

Застекляневшими глазами смотрит захмелев-

ший Егорушко, видит нехорошо. Нависая над деревянной бадейкой, приплясывает на подвесе глиняный рукомойник, отфыркиваясь водой во все концы… И вот в захохот впал Егорушко, бьется о стол, волосами по винным лужам, по селедочным костям. Но сразу тишиной их накрыло всех. Вскочил Агапий, второпях напяливая на голые глаза клобук.

— Стой, стань купец! Баба, застынь! Я теперь буду, я вам фок-пок покажу, вот допью только. Счас, счас… будет вам чудо-юдо по половичке гулять!

Тинькнула порванной струной, срыву замирая, балалайка. Сизым удушьем задымила новая лучина. Вылупились в тревожном ожиданьи три пары пьяных глаз, Гришка — тверезый, чорт. Берет Агапий стакан, полный в обрез водой, шатко ставит на клобук, замирает весь, даже глазом не поводит застылым —:

— Ну… пьян? Пьян. Донесу? Донесу!

В тишине, подобной волчьей стойке, делает Агапий первый шаг. Остановился: половичка, не дергайся! Вновь остановился: не сплеснись! Мерит Агапий косым глазом четвертый намеченный шаг.

Исподлобья, недоверчиво глядит Андрей Фомич. Ворот расстегнул. Бродит в нем водка синим

пламенем. Иринья, за рукав брата схватив, пугливо ждет. В Егорушке замедлилось дыханье, тени от лучины резко легли по лицу.

Посинели губы у Агапа, — пятый. Закруглились брови, — шестой. Бегут капельки пота из-под клобука, повисают на губах. И тут ахнул навскрик Егорушко, не выдержал, а лицо руками запахнул. Грузно — как у него лоб кровью не лопнул? — скочил Андрей Фомич, рванув как на покрученника в Мурманску страду:

— Будет… чорт!!

Тогда закачался стакан на монаховом клобуке и вдруг ахнул брызгами стекла и воды по полу, в разлет. С виноватостью глядел протрезвившийся Агапий. Нехорошее молчанье вошло посреди людей. И, точно дырку желая заштопать в распьянющей этой ночи, высоким голосом грянул Агапий:

— Говорила баба раз…

Но сломалось веселье. В избе захолодало. Хмурый, не глядя никому в глаза, напяливал на себя поддевку тесть.

— Сунь, Гришк, балалайку-те в мешок. Наигрались, хватит. Эй, зять, баба с дуплом, подушку давай, я тут на лавке пристроюсь. Ох ты мне,

ословый хвост!

Сонными, выгоревшими в винном пару глазами, как бы разбуженная, глядела Иринья, как подгибался на сторону черный, тонкий уголь лучины.

* * *

Бегут дни, а незаметно, что бегут. Как ни глянь — все ночь, как ни кинь — все темь. Тундра спит, еле тлеет под снегами тихая лампадка единой земной радости за полуночной чертой, клюковка.

Поет самоедин в тундре:

«Сказал Сядей Тяке: Тяка, хочешь быть солнцем? Сказал Тяка Сядею: нет. Спросил Сядей Тяку: ты будешь резв как собака, а красив как олень, — зачем не хочешь? Ответил Тяка Сядею: потому что Тяка я!..»

По льдам, обреченным на таянье, по снегам, по водам, где есть, проходят странных трое: Трифон из Печенги, Иринарх Соловецкий, Елисей Сумской. Украшается бытие твари Нюньюгской радостным благовестием о приходе вешнем.

* * *

Средь глубокого сна, когда по голубому в тонком плывешь, вышло, будто разбудил Агапий Егорушку. В пимах и совике, весь готовый, сказал он Егорушке:

— Слышь-ко, птицы человечьи счас полетят. И нам пора…

Сонно и покорно отвечал Егорушко, из сна пробуждаясь в сон:

— Пойдем.

Скуп и резок Агапиев голос. Наспех оделся Егорушко, с порога оглянулся назад. Сквозь вершковые наросты на окне пробивались на лавку невнятные лучи ночи. В свете ее валялись недошитые на лавке Варлам-Егорычевы пыжики. Дернулось злобой поперек Егорушкиной души, но оглянулся на него Агапий с суровой укоризной. Смолчал Егорушко, и только проглотил соленые, непрошеные слезы.

Вышли, пошли. Неведные, чуть не заячьи, тропки ведут их. Лыжами до первого таянья будет обозначен по снегу к месту гибели Егорушкиной кривой, лукавый путь. Вот поднимаются в гору — кольцом черная, спускаются с горы — обступила ночь. На восточной тупине, у сосны, стоящей

в одиночьи и слушающей песни Нюньюгского ветра, сказал Агапий, приближая деревянное лицо свое к запустевшим Егорушкиным очам:

— Как полетят, хватайся за птичью ногу-то, лети. А в тех птичьих краях, куда лететь, там твой-то в голубенькой рубашке, поясок шелковый, а волосики расчесаны, ходит. Там-то золоты яблочки на серебряных деревах растут! И я туда, за тобой…

Не смекает речей монаховых Егорушко, присел в снег, голову закинул, ждет. Небо черное, как для бега ровное, матерь холода и ночи, насело вниз. В снег-же опустился монах. Так сидели. Много-ли ночи протекло — некому было мерять.

— Ну, летят. Не бойсь парень, только-б захватиться крепчай!

Тут приблизилось движенье воздуха и крякот низких птичьих голосов. Мерно и грузно хлопанье тяжелых птичьих крыл. Еще тут крохотный кусочек ночи скользнул. Вдруг просунулась в синем мраке шумная, низколетящая стая медленных белых птиц. Вперяет в гудящую мглу измученный, ждущий взгляд свой Егорушко, — закосились в конец глаза, заломились брови, как женские над головою руки, — видит: летят впереди пять белых птиц человечьих снов — у них

головы как палки, а глаза мертвые — недвижные, а глядят в ночь.

— К последнему, к последнему цепись — так шипит Агапий и головой трясет и за плечо Егорушкино хватился крепко.

Мрак синь и широк, а птицы и белы и черны и розовы. Взмахи крыл шумны, а ночь ровным-ровна. Метнулся Егорушко со снегу, смаху вцепился обоими за корявую холодную ногу, проносимую в согнутом положении, подтянулся и застыл, неживой. Подивилась птица сонным кряхтом, и вся стая повернулась мертвыми глазами, — не нашли; мерно поднялись ввысь, к самой стене неба, понесли. Холодом и пустотой ударило Егорушку в лицо, было здесь еще синее, — ослепительная, бескрайнего, ледяного покоя синь. Тут его крылом задело, как огибала птица синий в небе холм. Зажмурился и застонал Егорушко и рот раскрыл для крику, но сбоку Агапий:

— Не кричи, парень, не кричи… всякий крик тут попусту…

Рядышком, к ногам длинной, худящей, остроклювой птицы нацепясь, летел головой вперед, разметаясь по небу заиндевелым совиком Агапий. Самое небо скользило над ихними головами, веяло стужей смерти, обступало каменной сте-

ной. Чиркали порой остроперые крылья по небесной черноте, обдавало лица ледянкой — пылью, коченели тела двух, летящих к небывалой Варлам-Егорычевой стороне.

— У меня, Агапь, руки зашлись… — скрипливо покричал Егорушко.

— А у меня конь-от тощ попал, сдавать стал, не жирен… — в голос ему Агапий, половчей перехватываясь за облезлую птичью длинную шею и паром дыша.

Так они летели из мрака в мрак, из холода в холод, ледяное небо плыло, а птицы струнко, как низаные, направляли к дальнему краю широкие весла крыл. И тут пришло Егорушке вниз глянуть. Что там позади остается, как там земля пошла? И подогнул голову и бросил вниз взор свой…

Увидел он ночные ровни, выстланные снегом. Моря увидел он, — они крутились как бы на осях, и слали неумолчные льды во все края… Глушь и пустоты увидел, где жил и ждал Варлам Егорыча, ныне гуляющего в голубенькой рубашке по берегам небывалых рек. И всходило с восточного конца весеннее солнце, и было прекрасно, и как бы таяла с весенним снегом душа, и как бы хотелось вырости, чтоб заполнить самим собою безвоздушную ледяную пустоту. В неуга-

симой тоске безумия своего навзрыд закричал Егорушко:

— А-а-а… Птицы-птицы…!

Обернулся конь Егорушкин и стебнул черным клювом прямо в голое темя, — давно провалилась в снежный низ шапка Егорушкина, когда летели не то над морской пучиной, не то над глубокой дыркой в пустоте. Руки раскидывая от острой зловещей боли, ринулся Егорушко вниз. Воздухи его подхватили, вертали задом и передом, кидали в сторону и сжалясь, смаху метнули вниз. Внизу было море, — оно позыбилось и расступилось, впуская в себя. В море и заглох крик нехотения Егорушкина, как заглох в поднебесьях сонный крякот сонных птиц.

Страшного крика мужнина не слыхала спящая Иринья.

* * *

Трижды радостная проходит за полуночной чертой весна. Робкие, нечаянные зори осеняют не сгинувшие покуда льды.

Вечером первой белой ночи сидят трое на берегу, на серой отмели. Агапий сидит поодаль и все раскидывает, пришли в Нель весенние корабли, ли нет. Ветер идет над ними сильный, он ест сне-

га, гонит льды, треплет черную тряпку монахова клобука.

Голову спрятав в коленях жены, безмысленно смотрит в серо-синее небо Егорушко и слушает Ириньину песню:

«Брателка Романа убили-и…

В серы-ый мох схорони-или…»

Неслышно ни для кого зацветает клюква на голом лице болот. Не наступи на нее, идущий на зверя! Пожалей, брат!

Вдруг вскакивает Егорушко и кричит:

— …и станет он Варлам Егорыч зваться…

Голову от земли подымает монах.

— Завтра итти мне в Нель. Пора кораблям. Саватей гневается…

Иринья, — отцвели у Ириньи губы:

— В Нели-то скажи отцу, чтоб наведался. Придавило, мол.

Монах:

— Скажу, зачем не сказать. А вы молитесь чаще, оно помогает.

Иринья, острым взглядом щупая щебневой на отмели камешок:

— Помолимся!!.

Пожаром стоит незаходимое. Бегут волны и

тают на песке. Ветры гудят в высотах. Чайкам привольно, глазу широко, а душе легко..?

Март 1922.
Москва.

И. Бабель
Исусов грех

Жила Арина при номерах на парадной лестнице, а Серега на черной младшим дворником. Был промежду них стыд. Родила Арина Сереге на прощеное воскресенье двойню. Вода текет, звезда сияет, мужик ярится. Произошла Арина в другой раз в интересное положение, шестой месяц котится, они, бабьи месяцы, катючие. Сереге в солдаты иттить. Вот запятая. Арина возьми и скажи:

— Дожидаться тебя мне, Сергуня, нет расчета. Четыре года мы будем в разлуке, за четыре года мало-мало, а троих рожу. В номерах служить подол заворотить. Кто прошел — тот господин, хучь еврей, хучь всякий. Придешь ты со службы — утроба у мине утомленная, женщина я буду сношенная, рази я до тебя досягну?

— Дисвительно, — качнул головой Серега.

— Женихи при мне сейчас находятся: Трофимыч подрядчик, большие грубияне, да Исай Абрамыч, старичек, Николо-Святской церкви староста, слабосильный мужчина, да мне сила

ваша злодейская с души воротит, как на духу говорю, замордовали совсем… Рассыплюсь я от сего числа через три месяца, отнесу младенца в Воспитательный и пойду за них замуж.

Серега это услыхал, снял с себя ремень, перетянул Арину геройски, по животу норовит.

— Ты, — говорит ему баба, — до брюха не очень клонись, твоя ведь начинка, не чужая.

Было тут бито-колочено, текли тут мужичьи слезы, текла тут бабья кровь, однако ни свету ни выходу. Пришла тогда баба к Исусу Христу и говорит:

— Так и так, господи Исусе. Я баба Арина с номерей Мадрид и Лувр, что на Тверской. В номерах служить подол заворотить. Кто прошел — тот господин, хучь еврей хучь всякий. Ходит тут по земле раб твой, младший дворник Серега. Родила я ему в прошлом годе на прощеное воскресенье двойню…

И все она господу расписала.

— А ежели Сереге в солдаты вовсе не пойтить — возомнил тут спаситель.

— Околоточный, небось, потащит…

— Околоточный, — поник главою господь, — я об ем не подумал… Слышишь, а ежели тебе в чистоте пожить?..

— Четыре то года — ответила баба. — Тебя послушать — всем людям разживотиться надо, у тебя это давняя повадка, а приплод где возьмешь? Ты меня толком облегчи.

Навернулся тут на господнии щеки румянец, задела его баба за живое, однако смолчал. В ухо себя не поцелуешь, это и богу ведомо.

— Вот что раба божия, славная грешница дева Арина — возвестил тут господь во славе своей, — шаландается у меня на небесах ангелок, Альфредом звать, совсем от рук отбился, все плачет: что это вы, господи, меня на двадцатом году жизни в ангелы произвели, когда я вполне бодрый юноша. Дам я тебе, угодница, Альфреда ангела на четыре года в мужья. Он тебе и молитва, он тебе и защита, он тебе и хахаль. А родить от него не токмо что ребенка, а и утенка немыслимо, потому забавы в нем много, а серьезности нет.

— Это мне и надо, — взмолилась дева Арина, — я от их серьезности почитай три раза в два года помираю…

— Будет тебе сладостный отдых, дитя божие Арина, будет тебе легкая молитва, как песня. Аминь.

На том и порешили. Привели сюда Альфреда. Щуплый парнишка, нежный, за голубыми пле-

чиками два крыла колышутся, играют розовым огнем, как голуби в небесах плещутся. Облапила его Арина, рыдает от умиления, от бабьей душевности.

— Альфредушко, утешеньишко мое, суженый ты мой…

Наказал ей господь, что как в постель ложиться — ангелу крылья сымать надо, они у него на задвижках, вроде как дверные петли, сымать и в чистую простыню на ночь заворачивать, потому при каком-нибудь метании крыло сломать можно, оно ведь из младенческих вздохов состоит, не более того.

Благословил сей союз господь в последний раз, призвали к этому делу архиерейский хор, весьма громогласное пение оказали, закуски никакой, а-ни-ни, не полагается, и побежали Арина с Альфредом обнявшись по шелковой лестничке вниз на землю. Достигли Петровки, вон ведь куда баба метнула, купила она Альфреду, (он, между прочим, не то что без порток, а совсем натуральный был), купила она ему лаковые полсапожки, триковые брюки в клетку, егерскую фуфайку, жилетку из бархата электрик.

— Остальное, говорит, — мы, дружочек, дома найдем…

В номерах Арина в тот день не служила, отпросилась. Пришел Серега скандалить, она к ему даже не вышла, а сказала из-за двери:

— Сергей Нифантьич, я себе ноги мыю и просю вас без скандалу удалиться…

Ни слова не сказал, ушел. Это уже ангельская сила начала себя оказывать.

А ужин Арина сготовила купецкий, эх, чертовское в ней было самолюбие. Полштоф водки, вино особо, сельдь дунайская с картошкой, самовар чаю. Альфред, как эту земную благодать вкусил, так его и сморило. Арина, в момент, крылышки ему с петель сняла, упаковала, самого в постелю снесла.

Лежит у нее в пуховой перине, на драной многогрешной постеле белоснежное диво, неземное сияние от него исходит, лунные столбы в перемежку с красным ходят по комнате, на лучистых ногах качаются. И плачет Арина и радуется, поет и молится. Выпало тебе, Арина, неслыханное на этой побитой земле, благословенна ты в женах.

Полштоф до дна выпили. Оно и сказалось. Как заснули — она на Альфреда брюхом раскаленным, шестимесячным, Серегиным — возьми и навались. Мало ей с ангелом спать, мало ей того, что никто рядом на стенку не плюет, не храпит,

не сопит, мало ей этого, ражей бабе, яростной, так нет, еще бы пузо греть, пузо вспученное и горючее. И задавила она ангела божия, задавила с пьяну да с угару на радостях, задавила, как младенца недельного, под себя подмяла и пришел ему смертный конец, и с крыльев, в простыню завороченных, бледные слезы закапали.

А пришел рассвет — деревья гнутся долу. В далеких лесах северных каждая елка попом сделалась, каждая елка преклонила колени.

Снова стоит баба перед престолом господним, широка в плечах, могуча, на красных руках ее юный труп лежит.

— Воззри, господи.

Тут Исусово кроткое сердце не выдержало, проклял он в сердцах женщину:

— Как повелось на земле, так и с тобой поведется, Арина.

Что-ж, господи, — отвечает ему женщина неслышным голосом — я ли свое тяжелое тело сделала, я ли водку курила, я ли бабью душу одинокую, глупую выдумала…

— Не желаю я с тобой возжаться, — восклицает господь Исус — задавила ты мне ангела, ах, ты паскуда…

И кинуло Арину гнойным ветром на землю,

на Тверскую улицу, в присужденные ей номера — Мадрид и Лувр. А там уже море по колено. Серега гуляет на последях, как он есть новобранец. Подрядчик Трофимыч только что из Коломны приехал, увидел Арину, какая она здоровая да краснолицая.

— Ах, ты пузанок, — говорит, и тому подобное.

Исай Абрамыч, старичек, об этом пузанке прослышав, тоже гнусавит:

— Я, — говорит, — не могу с тобой закон иметь после произошедшего, однако, тем же порядком полежать могу…

Ему бы в матери сырой земле лежать, а не то, что как нибудь иначе, однако и он в душу поплевал. Все точно с цепи сорвались — кухонные мальчики, купцы и инородцы. Торговый человек — он играет.

И вот тут сказке конец.

Перед тем как родить, потому что время три месяца уже отчеканило, вышла Арина на черный двор, за дворницкую, подняла свой ужасно громадный живот к шелковым небесам и промолвила бессмысленно:

— Вишь, господи, вот пузо. Барабанят по ем ровно горох. И что это такое — не пойму. И понять этого, господи, не желаю.

Слезами омыл Исус Арину в ответ, на колени стал спаситель.

— Прости меня, Аринушка, бога грешного, и что я это с тобою исделал…

— Нету тебе моего прощения, Исус Христос, — отвечает ему Арина, — нету.

Иван Рукавишников
Сказ скомороший

про СТЕПАНА РАЗИНА, про МУХОЯРОВА КНЯЗЯ, про дочку его КАТЕРИНУ, да еще про стремянного ВАСЮТУ, в шести песнях с присказкой и концовкой.

Со вступительными статьями
О НАПЕВНОМ СТИХЕ
Г. Шенгели и М. Малишевского.

Георгий Шенгели

О «НАПЕВНОМ СТИХЕ».

Простой речевой говор; рецитация; песня, — три вида произнесения слова. В говоре звучат отчетливо ударные слоги; полуясны предударные; предпредударные-же и заударные — произношением стерты, «проглочены»: так, слово «колокольня» в говоре звучит: «к, лы-ко-ль-нь», где гласный предударный слог дан в смутном облике, близким к Ы, гласный ударного явлен вполне, прочие — как-бы исчезли; в рецитации,

в слегка растянутом, чуть распевном произношении, все слоги звучат отчетливо и на первом возникает ясное полуударение: «ко-ло-ко''ль-ня»; в песне любой слог может получить ударение, в зависимости от того, на какое придется он место музыкального такта; говор, протекая, как и всякая речь, во времени, от временного членения, от временного ритма независим; его ритм обусловлен распределением силовых начал речи, опирающимся в свою очередь на смысловую и эмоциональную весомость отдельных словосочетаний. В песне слово вполне подчинено музыкальному началу, вполне во власти временного ритма. Рецитация осуществляет равновесие обоих начал.

Сообразно этим разграничениям строится и стих. Русский народный стих есть стих песенный: поется былина и поется частушка; таким был и стих Кантемира и прочих «силлабистов» (совершенно неточное, но до сих пор цепляющееся за страницы исследований наименование, — см. мой «Трактат о русском стихе»), вполне совпадающий с частушкой:

> *Уме, недозрелый плод || недолгой науки...*

Дай мне, Ваня, четвертак || пожертвуй полтинник…

Стих «Пушкинский» (от Ломоносова до акмеистов) — рецитативен: Пушкин читал стихи «нараспев», как и другие поэты наших дней, что приводило в ужас актеров, этих принципиальных «компрачиносов» стиха. Наконец, стих футуристов есть стих говорной.

Установка на тот или иной принцип произнесения предопределяет внутренние законы стиха, о чем, к сожалению, здесь мы не можем говорить подробно. Но сама эта установка определяется чем? Мы позволили себе несколько смелое обобщение.

Недаром говорной стих вылупился и с уверенностью зазвучал в «годину бурь и мятежей», в эпоху войны и революции; недаром поэт Асеев, говоря об этом стихе у Пастернака, уподобляет некоторые стороны его, стиха, «приемам агитационной речи», имеющей задачу воздействовать на волю.

Недаром, рецитативный стих родился в XVIII веке, в эпоху рационалистов и скептиков, и высшее совершенство обрел под пером Пушкина, в котором даже венчанный капрал Николай сумел разглядеть «*умнейшего* человека России».

Наконец, песня, — ее поют в часы отдыха, когда активные начала личности, — воля и ratio — покоятся, — или за работой, чтоб отвлечься от напряжения мышц, от тяжести горьких дум. Ее стихия — *эмоциональность*. Недаром, литературные закрепители песенного стиха, как вдохновенный Дмитрий Ростовский, были духовными витиями, носившими в себе эмоциональную заряженность торжественными обрядами культа. Рецитативный стихотворец, но самый эмоциональный из всего поколения своего, Жуковский, был и наиболее «песенным». А вечно напряженный Лермонтов порой прорывался в говорной стих.

Читатель, вы подумали, что я утверждаю, будто стих говорной пригоден лишь для лозунгов, рецитативный — для рассуждений, напевный — для «чувства»? Если вы это подумали — устыдитесь, читатель. Каждый пригоден для всего: в какой-бы области ни развертывался психический процесс, — в смежных развертываются его «обертоны». Мы говорили лишь о соответствии основного пути постижения мира — виде стиха.

Также нельзя заключать к «соответствию» или «несоответствию» стиха — эпохе. Все дело в основной настройке личности поэта.

Напевный стих вполне живуч и в наши дни. Игорь Северянин, строивший стих по рецитативным принципам, — пел свои стихи; и многие помнят те исключительные восторги, которые вызывало это исполнение. И творческая задача напевного стиха — уловление (иррациональное, интуитивное) *музыки* изображаемого события. Вспомни слова Блока в предисловии к «Возмездию» о музыкальном смысле всех явлений, и его-же слова, по написании «Двенадцати», что слышал он, физически, «шум от падения старого мира».

Наука о языке говорит нам о таинственном звуковом символизме словесных корней, об иррациональном проникновении звуком в суть явления. Напевный стих осуществляет этот звуковой символизм в плоскости ритма.

Поэма Ивана Рукавишникова «Сказ о Степане Разине» являет собою прекрасный образец напевного стиха. Будучи должным образом произнесена (нотами бы снабдить ее), она оплеснет нас музыкой Разинова мятежа. Если-бы прослушал ее иностранец (это не мои слова), не знающий по русски, то и он музыкально понял-бы, о чем в ней поется.

Москва.

Март, 1924 г.

М. Малишевский

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НАПЕВНОМ СТИХЕ.

Термин: «напевный стих» не имеет за собой понятия определенной «системы стихосложения», в приемах и правилах которой, писались-бы поэтические произведения.

Под «напевный стих» можно подвести почти все виды народно-поэтического творчества (былины, сказы, песни, частушки), сопровождавшиеся в исполнении *чисто-музыкальной мелодией* (*пение* этих произведений), или-же чтением, «сказыванием» их *нараспев*, что дает чисто *поэтическую мелодию*, в отличие *от мелодии лингвистико-речевой*, адекватной тому, что мы называем «*интонацией*» речи.

Тайна писания подобных произведений, а так-же их правильного чтения «нараспев», в силу исторических причин нами не сохранена в неоспоримой подлинности.

Теперь мы можем пытаться лишь *реставрировать* то, что почти стерто в народной памяти.

Опираясь с одной стороны на данные *лингвистики и музыки* и восстанавливая подлинность

произведения (писания и читки) в границах компетенции обоих названных наук, мы не можем избежать включения сюда мнения и третьей науки: *стихологии*, которая, зачастую не только не соглашается со своими этими двумя сотрудницами, но и выставляет против них исключающие положения, ибо поэзия не строится по указке ни лингвистики, ни музыки, управляясь *своими законами*, правда, весьма часто и в главном, совпадающими с законами музыкально-лингвистическими и декламационными.

В угоду псевдо-музыке мы до сих пор коверкаем в читке античные (греческие и латинские) метры, как напр. гекзаметр (то-же напевный стих), исполняя его на 3/4 музыкального счета («вальс»), тогда, как он заведомо написан на 4/4 счета («марш»), исходя из *четырех* мор античной дактило-спондеической стопы.

Quasi-лингвистика (quasi-поэтика), пренебрегая размером (метром), положим, былины, позволяет ее читать «как прозу», не подозревая, что проза имеет свой размер (метр), вполне определенный, но весьма отличный от размера (метра), былин, который, в свою очередь, с приписываемым былинам чисто *музыкальным* размером никогда почти *не совпадает*. (Вспомните музыкальные

метры романсов на стихи).

Подобная лингвистика закрепляет, например, частное смещение ударений в былинах, как «каме́нь» вместо «ка́мень», («бел-горючь каме́нь»). Не только в былинах, но и в античных гекзаметрах, напр. «dones erís felíx multós» вместо «dones éris félix múltos». Подобные насилия над языком объясняются будто-бы «требованиями стиха, размера, метра».

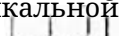
Однако, ни в первом (русские былины), ни во втором случае (гекзаметры и др. античные метры) «стих» не «требует» искажения естественных ударений. Наоборот, есть свидетельство, что в античном гекзаметре одновременно соблюдался *и размер* (метр) стиха, и *естественные ударения* слов. Повидимому тоже происходило и с русскими былинами.

Но, как утерян ключ к читке гекзаметра, так утерян ключ и к читке былин и вообще «напевного стиха», а следовательно утеряно и самое главное: ключ *к пониманию* стиха как *художественного* произведения.

Тем не менее музыка и лингвистика нередко помогали нам искать эти ключи, но найдены они (или почти найдены) собственно наукой о строении поэтических произведений — *мет-*

ротонической стихологией, которая, по поводу интересующего нас вопроса говорит следующее:

Как русские былины, так и античные гекзаметры, писались в одном и том же *метрическом ключе*, или как его называют иначе, *доминанте* (поэтический знак DP).

Эта доминанта называется *большим* метротоническим *хореем* (знак DP^2/-). Большой хорей  по античной терминологии спондей или дактиль ; по музыкальной — двух или четырехдольный такт: $^{2/2}$  или $^{4/4}$ .

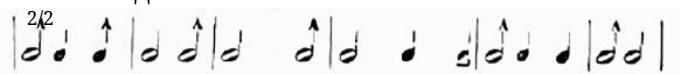
Соблюдая разницу в долготах слогов в обоих видах стиха, мы одинаково свободно можем располагать ударения на любых *морах* (слогах, нотах) *стопы* (такта). Напр.:

DP^2/-



«Donec eris felix multos numerabis amicos».

Это тождественно с:



Или:

DP^2/-



«Садка день не зовут на почестен пир».

Это тождественно с:



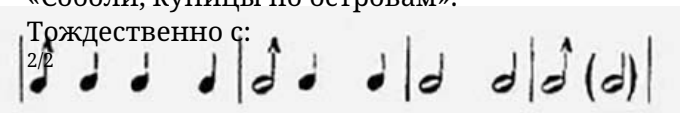
в скобках — пауза).

Или:



«Соболи, куницы по островам».

Тождественно с:



Если античный гекзаметр слагался из 6-ти стоп (тактов) большого хорея (античный спондей или дактиль), то русская былина слагалась из 4-х стоп того же большого хорея; и если гекзаметр имел предпоследнюю (5-ю) стопу («*константу*») обычно в виде |-◡◡|, то былина имеет ту-же предпоследнюю (3-ю) стопу в виде (– –). (И в том, и в другом случае это будет все тот-же большой хорей в своих разновидностях, которых вообще много).

Повидимому этот-же размер (большой хорей, DP^2/-) свойственен вообще *народному* творчеству и на иных языках, как наиболее простое, но вполне законченное ритмическое движение элементарно организованной речи, аналогичное

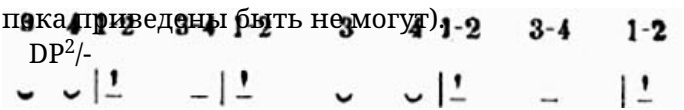
человеческой походке, маршу.

«Сказ» Ив. Рукавишникова, одного из первых революционеров-современников в области поэтической формы (в смысле разрушения книжно-классических приемов писания стихов), вызван необходимостью поставить народный «напевный» стих в ряды тех живых маяков, на которые будет держать курс корабль нашей современной поэзии, ушедший от мертвых берегов «силлабо-тонической, *„глазной“* системы стихосложения», но еще не приставший к новым берегам живых, *слуховых*, подлинно поэтических приемов «слагать стихи», т.-е. организовывать *речь*, (а не «слова», «звуки», «стопы» и т. д., как полагают некоторые из современных поэтических «школ» и «направлений»).

Вскрывая не только метрические и ритмические возможности напевного стиха, автор обращает большое внимание и на самый «напев», т.-е. на *поэтическую* мелодию в своем произведении, закрепляя за ним своеобразную *декламацию*, стоящую между пением и говором, отличающуюся от театрально-эстрадной читки и обусловленными метро-ритмо-гармоническими, а не смысловыми данными «Сказа». («Гармоническими» — употреблено здесь в поэтическом, но

не музыкальном смысле. Поэтическую гармонию следует понимать как выявление законов *последовательного* сочетания речевых звуков, что в силлабо-тонике путалось в понятиях «звукописи», «аллитерациях» (littera — буква, но не звук), «рифме», «инструментовке» и т. п.)

Занотированный в доминанте большого хорея (DP^2/-) «Сказ» Ив. Рукавишникова начинается так: (даны лишь *метрические* поэтические ноты. *Мелодические* же, из-за типографских затруднений, пока приведены быть не могут).



DP^2/-

Налетел топор да на острый сук.



Наскочила подкова на булыжничек.



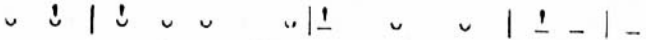
Уж ты воля, ты, воля, ты, воля моя!



Были туги орешки Терешке.



Уж никак то он с ними совладать не мог.



Сидел голодом Терешка, да плакался.



Кто Терешку жалел, кто насмешничал.

(Стопы, рассеченные типографским переносом строки, следует читать так-же, как и все остальные, слитно. Напр.:



«сук. Наскочила» «Терешке. Уж никак».

(Долгота слога, обозначенного нотой „-“ равна долготе 2-х слогов, обозначенных нотами «◡»

Счет — ра́з, два, три, четыре).

30 марта 1924 г.
Москва.

СКАЗ СКОМОРОШИЙ

про Степана Разина, про Мухоярова князя, про дочку его Катерину да еще про стремянного Васюту.

В шести песнях с присказкой и концовкой.

Налетел топор да на острый сук.
Наскочила подкова на булыжничек.
Уж ты воля, ты воля, ты воля моя.

Были туги орешки Терешке.
Уж никак-то он с ними совладать не мог.
Сидел голодом Терешка да плакался.
Кто Терешку жалел, кто насмешничал.
Изловчился Терешка, побил орешки.
Кушай, Терешка. Твои орешки.
Чего взять не горазд, то не дадено.
Уж ты воля, ты воля, ты воля моя.

Нездоров был Феде жареный гусь.
Ты едал-ли, Федя, едал-ли гуся?
— Я гуся не едал, от Васютки слыхал,

А Васютка видал, как его барин едал. —

Нездоров был Феде жареный гусь.

Поел Федя гуся. — Ну, здоров-ли Феде гусь?

— Ничего себе гусь. Да и вкусный какой. —

Уж ты воля, ты воля, ты воля моя.

Взяли воры Тараску.

Уж и воры лихие Тараску подпаска.

Просят покорно, наступя на горло:

— Уж ты дай-отдай нам Тарас,

Что припас ты в клеть не про нас.

— Хорошо, грит Тараска, отдам,

Все одно, что мне, что вам,

Что купить, что взять, что слямшить,

Только ключик от клети затерямши.

Уж вы дайте мне воры топорок,

Отшибу я у клети замок. —

Дали воры топор. А Тараска, хитер человек,

Топором ворам башки посек.

Ах ты воля, ты воля, ты воля моя.

Присказку ладно да складно повесть,
Глянь-поглянь и полдела есть.

I.

Жили привольно князи да бары.

Девки их румяны, кони чубары.

Жил на Москве Мухояров князь.

Вон, мол, куда наша песня повелась.

Реви, Данилка, в сурну громчее; Гаврилка, пляши горячее. Небось, шапку не потеряешь, волосяная — своя, сапогов не стопчешь — своекожаные.

У Мухоярова у князя высоки хоромы.

Полны ухожи, полны закромы.

Сорок сороков одних чашек золотых,

Пол сорока жеребцов проездных.

Не по нашенски жил князенька. Инда завидки берут. А у нас и всей-то медной посуды гребень да пуговица, всей-то рогатой скотины таракан да жуколица. Покажь, Гаврилка, девкам бодущего таракана.

Князь Мухояров богат да силен.

Что душенька запросит, все делать волен.

Всех-то он могутней, в миру-ли, на войне-ли,

За столом-ли брашным, на мягкой-ли постеле.

Ну и то сказать, родись он не в княжом дому, и всего-то был-бы конного полку пешей кобылой под литаврами. Знаем мы ихнего брата.

А я и шел-бы воевать,

Да лень саблю вынимать.

У Мухоярова у князя красавица дочка.

Румяна, что твой розан; бела, что сорочка.

Шелки шемахански, подвес вырезной.

Звать Катериной, величать княжной.

Эй, молодуха! Чего над Данилкой подсмеиваешься. Мекаешь, стар? Не смотри, что с плешинкой да с сединкой; он у нас еще молодой совсем, шкура не ворочена и голова всего-на-все первая на плечах. Жених!

Звать, стало-быть, Катюшей, величать княжной.

Уж так-ли полюбился ей Вася стремянной.

Поздней ночкой встанет, в сад заглянет.

Ночка холодна, уж и цветик вянет.

Ну да уж согреются, до свету целуются.

Глазками красуются, ручками милуются.

А что бы того — ни-ни. Примечай, девки, мотай на ус.

На заре Катюша в постелю пухову.

Плачет-разливается: Вася больно люб.

А про то не молви и попу на духу.

Женишок ли Вася? Князь-то чай не глуп.

День за́ день боле сохнет княжее отродие.

И с румянца спала. Вчуже жаль.

Говорит княгиня мать: — князь, ваше благородие,

Уж княжна то наша, слышь, не влюблена ль. —

Князь на то крякнул, бороду погладил

И такую-ли речь наладил:

— Ваше благородие, дескать как вы мать,

В бабьих завирушках должны больше понимать.

Ну а про то, что я моим умишком ведаю,

С соседом покалякаю; я ныне у него обедаю. —

А сосед евоный старик воевода.

Богатей и тоже княжого заводу.

Ты чего, парень, лезешь! Не трожь, мол, цымбал. Не твоих памороков дело. Отваливай что-лича, разиня.

Как про то про самое заслышала княгиня,

— Грех, грит, да беда, грит, на ком не живет. —

Ну стелет да мелет, врет да плетет.

Потому как грозен был князь. Разъелся на даровыхъ то хлебах.

А князь грит: — пошла, грит, Катюше доложи,

Княжне мою волю княжую скажи:

Отец, дескать, дочечке найдет женишка,

А дочечка пусть перетерпит пока. —

Пошла мать княгиня, пошла в теремок.

— Здравствуй, грит, дочечка, — А той и невдомек.

— Что мол, матушка, что мой свет,

Что ваше благородие изволит приказать?

— Твому благородию отцов завет:

Сидеть, хорошеть да суженого ждать.

— А суженый, мамашенька, мой суженый кто? —

А та ей: — Воевода, мол, похоже на то.

То девка заслышавши, белее плата стала.

Склонилась былинкой, и на пол пала.

Не вздыхай, девки, смотри веселей. Песня наша не кончена.

Коротко-ли, долго-ли, со свадьбой порешили,

Девку болезную как в мешок зашили.

II

Вот как о ту пору в лесах за Волгою

Ранним-ли утром, ночью-ли долгою

Он и сокол ясный, он и черный вран,

Думу думает Разин Степан.

Как Волга, наша Волга, та дума широка,

Как море Хвалынское, та дума глубока.

Слезой народной вспоена, огнем да железом.

Уж так-ли подошло, что вовсе до зарезу.

Как буря та дума, как буря-ураган.

Народ родной оволить задумал Степан.

Он три года таился по дальним по чащобам.

Помошничков разбойничков высматривал в оба.

До сроков таился. А как сроки подошли,
Народу объявился близь Калмыцкой земли.

— Эй слушай, народ честной, эй слушай народ.
Берись-ка, народ, за колья-топоры.
Пойдем-ка, народ, наших ворогов бить.
Пойдем-ка, народ, свободы добывать.

— А кто наши вороги, народ загудел,
Кого мы пойдем топорами бить?

— Наши вороги подъячие породы собачьей,
Наши вороги ярыги, что людей пишут в книги,
Воры приказные и с ними сволочь разная,
Брюхачи-воеводы волчьей породы,
Знать московская, баре да князи,
По чьей великой милости не выйти нам из грязи,
Помещики сутяги убивцы кровопивцы
И все, кто нам насупротив с ними слу-

чится.

Вот кто наши вороги, русский народ.

Пойдешь-ли со мной наших ворогов бить?

— Мы пойдем, Степан, наших ворогов бить.

Мы пойдем, Степан, усадьбы палить.

Мы пойдем, Степан, застенки громить.

Пойдем рушить, Степан, неправые суды.

Мы пойдем, Степан, на Кремль на Москву.

Мы пойдем, Степан, свободы добывать.

А ты, Степан, нас к правде веди.

Айда, ребята, топоры вострить.

Айда, ребята, колья тесать.

Айда, ребята, готовить коней.

Айда, ребята, зипуны латать.

Коротко-ли, долго-ли, рать изготовилась.

Аржаная-ли рать сермяжная.

Колья-дреколья, вилы топоры.

Рать идет, могутные песни поет.

Рать идет, могутные песни поет,

Впереди той рати Разин Степан.

Эй, ребята, гляди соколом! К делу подходит. Девки, не тоскуй, не крушись! Еще про любовь скажем.

Как и шли сердешные темной тучей

По полям, по лесам — нет ни души.

Как дошла до Волги рать могучая,

Принялась царевых слуг крушить.

Уж они крушат, как орехи лущат.

Валят-бьют валом, как овес цепом.

И приказных бьют, и подъячих бьют.

И ярыжек бьют, и помещиков бьют.

Караваны со товарами в полон берут.

И колотят и молотят да и песни поют.

Уж и как тут быть, скомороху как быть.

Сами ноги пошли, не удержишь никак.

Расступись, народ, скоморох пошел.

Эй, ребята, шире круг! Девок в боки толкай

Тега-тега, тега-тега, гуси белые!

Цып-цып, цып-цып, пестры курочки!

III

В Москве в белокаменной как про то прознали,

Про тою про самую рать Степанову,

С пушками да с ружьями войско собирали,

Во мундиры синие обряжали заново.

Ну скоро-ли, не скоро-ли, войско изготовилось, к Волге пошло. А князя Мухоярова сосед, Катерины дочки его жених старый, он как воевода, тоже с войском ушел. Свадьбы сыграть не поспели; должно не все у невесты пошито было. Ну да известно: бабьи сборы — гусиный век.

Как и шли солдатики по дороге.

Как и шли сердешные поневоле.

Унтера их батогами поколачивают.

Командиры матершиной поворачивают.

Воевода в санях. Бородища — во.

Не буди, не трожь, не ворошь его.

Ах солдат, ты солдат, шапка красная.

Ах судьба твоя, солдатик, разнесчастная.

Ты кого, солдат, ты почто бить идешь?

По чью голову, солдат, ты ружье несешь?

— Ах сердешный, отойди, не расспрашивай,

Подневольного меня не испытывай.

Не спросясь меня парнишкой записали в полк,

Батогами да кнутами душу выдули.

Ты не спрашивай, не выпытывай,

Из очей слезы горючей не вытягивай.

Поднеси ты мне, сердешный, коль ты добр человек,

Поднеси ты мне, миленок, чару зелена вина,

Да побольше, да покрепче, чтобы душенька забыла,

Чтобы душенька забыла, перепутала,

Что налево, что направо, что кругом. Эх! —

Не плачь, девки. К концу веселей пойдет. Про солдатиков оно так. А про Мухоярова про князя и с Катериной дочкой, думаешь, забыли? А про стремянного Васюту?

IV

Ой авсень! Ой авсень! Таусень!

За горами за долами круглый год ясен день.

Как у вас, а у нас вини козыри.

Наши блошки с вашей кошкой не повздорили-бы.

Будя. Будя. Стой, моя запевка.

Дай лапоточкам передохнуть.

От любви-печали сохнет девка.

Все не так, не этак да как-нибудь.

Ну и парню тоже Васеньке не сладко.

Чай в разлуке знаешь сам — беда.

Раньше было виделись украдкой,

Ну а нынче девку никуда.

Васенька прослышал про Степана Разина.

Дума пала на сердце глубоко.

— Из жизни из дворовой мне ходу нету разве. —

Легче стало жить со змеей-тоской.

По своим по хоромам

Ходит князь Мухояров

Зол да ворчив.

Да и как тут веселым быть.

Ревмя ревет девка

Да и мать с ней.

Никакой тебе радости.

Отпустил на богомолье с глаз долой.

Еще горше стало старому. Ходит ждет семью домой.

Уж он ходит стучит

По́ полу по дубовому

Сапогами серебром кованными.

Уж и брага ему пенник принаскучила,

Приобрыдла и фряжска мальвазия.

Да и воеводы соседа нет. Много-ль выпьешь один.

— Эй вы слуги мои верные.

Вы готовьте слуги студни пироги.

Вы в бочата наливайте вина фряжские.

Вы бочата к саням приторачивайте.

А и брагу пенник мы в пути найдем.

Вы садитесь на конь, слуги мои.

Прицепляйте к кушакам сабли вострые. —

Порешил-потянулся за войском за воеводиным вслед целым поездом и с челядью. И для порядку саблю к кушаку привесил, потому хоть и стар, да по тем временам князь. Ну и Васюта с ним.

Едут они едут, их снег осенний мочит.

Кудьма речка малая, родные места.

Васенька сердешный да с пятью молодчиками

К вечеру от поезда поотстал.

Ну потом догнали они поезд княгинин.
Катеньку отбили. Старуха — езжай!
До деревни Васиной путь не длинен.
Служба княжая, на век прощай.

Доскакала-ли княгиня в монастырь успенский,
Тебе надо больно знать, али ты смоленский?
А те скачут, скачут семеро в ночь
От дорог проезжих подале прочь.

Васина деревня зовется Моховины.
Катенька и рада, и мокры глаза.
Как Васенька завидел родные овины,
Из очей сокольих скатилась слеза.
К матери старухе. — Мать родимая,
Вот моя зазноба. Катей звать.
Ничего не спрашивай, схорони сердешную.
Жди меня. Вернусь ли, не знаю сам. —
Попрощался с матерью, целовал зазнобушку
— Эй ребятки, на ка́нь! К Разину по-

ра! —

Скачут они, скачут. Днем в лесах хоронятся.

Скачут они с вечера до утра.

К Волге путь. К Волге путь. К Волге матушке.

А к какому они городу? К Саратову.

Скачут они, скачут третью неделю.

Город повиделся. Бой идет.

Парни по излогам город обскакали.

К берегу крутому. К Разину в стан.

— Так и так, веди нас, землячок, к Степану,

Прямо в шатер, к атаману веди.

Будем мы биться за волю без обману.

Эй, миленочек, поласковей гляди.

Зипуны хоша на нас красна бархату,

Ну а души в нас крестьянские да вольные.

Этот бархат нам достался пóтом-кровию,

Этот бархат тяжеленек на плечах у нас. —

Атаман на ребят только раз поглядел.
Ничего не сказал. Принять велел.

V

Бьются они, лезут на́ стены высокие.
Крепость не сдавалась сорок дней.
Там солдаты с пушками, там рвы глубокие.
К дню сороковому весь город в огне.

Крепость сдали. Город пал.
Воевода в лес дремучий на коне ускакал.

Как пожар тушили трои сутки.
Головни летели аж до воды.
В поле выходили еще трои сутки
Зарывать-хоронить мертвые тела.

Волки серые из лесу повыбегивали.
Черны во́роны из облак повылетывали.
Волки-во́роны сбегались да слеталися.
Волки-во́роны тащили рвали мертвые тела.

Уж и вдосталь они да полакомились
Молодой да свежей человечинкой.

Волки-во́роны девились, что за бой тут был.
Что за бой тут был, за диковинный.
Все-то русская кровь, все-то русский дух.
Где-же вороги? Иноземщине?

Гул пошел вдоль Волги по всей по Руси:
Город, мол, Саратов Разин взял.

VI

Куда-ж делся князь Мухояров.
Куда-ж подевался старый.
Он спешить не любил, он по княжьи жил,
Ехал трусцой да исподволь.

А куда доедет, сельцо-ли, деревня-ли,
Тут и стой, раскладайся.
Сутки-ли, неделя-ли, месяц-ли со́ днем,
Спи, пей да ешь, дни не считаны.
Уж доехал-ли куда Мухояров князь,

Мухояров князь да с челядью,

Да с челядью, со всем поездом,

Нам доподлинно не ведомо.

Васю стремянного, паренька любезного,

Метиной отметил царский командир.

От соска от левого поперек по ребрышкам

Саблею вострою полоснул.

Как идет Васюта да весь перевязанный,

Как идет Васюта ко шатру.

— Допустите, милые товарищи сердешные,

Допустите, ро́дные, к самому.

— Так и так, доложили, свет Степан Тимофеич,

Тебя видеть, свет, желает парень Вася стремянной.

Держит речь к Васюте Тимофеич:

— Чем тебя пожаловать за рану за твою? —

А ему Васютка: — Болит моя грудка,

Только глубже раны грудь болит.

Болит мое сердце, плачет ретивое. —

Все ему поведал, не таясь.

— Так и так. Как мне быть да как мне горю пособить,

Да как мне с девкою поладить, чтоб счастливым быть? —

Как при этом слове Разин захохочет.

— Вот так парень, шут дери!

Елки зеленые! Мать твою к монахиням!

Желторотый ты худодум!

Хурды-мурды через пень да через дьяконов плетень,

Шилды-булды чикалды, хлоп в лоб протопопа,

Знай Кузькину мать!

Как тебя, парень, угораздило

Елки-палки девку полюбить,

Коли ты не знаешь, мать твою в овчину,

Что с ней делать, дуй тебя горой!

Пей! Пей! Лей парнишке, Сенька-везенька,
Пеннику, пеннику лей, лей, лей.

Надо бы княжне твоей раскрасавице
Повисеть меж двух меж столбиков.
Ну да худо-ли, ну да ладно-ли,
Ныне светит солнышко больно хорошо.
Дайте парню тройку, черти еловые,
Тройку дайте, черти, коней-чертей.
Сани покройте, мать вашу за ногу,
Сани расписные персидским ковром.
Ты скачи, парнишка, в рот те оглоблю,
Ты скачи, еловый пень да в день и в ночь.
Прямо к Катерине, сукин кот, к невесте.
Эй вы, косопузые! Живо закладай!
Привези ты сюда, растакой такой,
Ты невесту свою раскрасавицу.
Мы поженим вас, обвенчаем враз.
Без попов, без свечей да без ладану.
Хлоп в лоб попадью. Митрофаныч, балалайку доставай.

Посаженным отцом на той свадьбе буду я.

Воля вольная будет посаженная мать.

Пей, парнишка! Ребятишки, наливай.

Торопись да поворачивай. —

Здоров был Степан биться-драться, здоров и ругаться, здоров и доброе слово молвить.

Поскакал на тройке Васенька, только ископыть летит.

Все сбылось по слову по Степанову.

Тут и сказу нашему конец приспел.

Видно сколь веревочку ни вить, концу надо быть.

Хорошо, что все случилось по хорошему.

Так-то.

Айзман
Их жизнь, их смерть

ПОВЕСТЬ.

I

Через два месяца после своей свадьбы Эрнестина родила. Муж ее, Жюль, был в поле, пахал. Когда стало смеркаться, он выпряг лошадей и вывел к дороге. Лошади были: Маркиза — большая кобыла, серая, в яблоках, и Гарсонэ — тощий и мелкорослый белый конек, с сильно загаженными задними ногами и с хронической язвой на шее. На Маркизу Жюль сел, как на диван, свесив обе ноги на левый бок, и поехал домой.

Четвертый уже день Жюль не пьян. Вчера очень мало выпил, сегодня утром хлебнул стакана три, да с собой в поле прихватил литра полтора. Только и всего. А теперь шестой час. Пора двигаться. Надо поскорей добраться до деревни, насыпать коням овса, да и самому пожевать. Старый Виар привез новое вино, говорит, по случаю приобрел особенно хорошее, — надо попробовать.

— Вперед, Маркиза! чего икаешь?..

Позади мостка, немножко дальше мерии, на крыльце мясной, стоит свояченица Жюля, мясничка Мари. На свою сестру Эрнестину, жену Жюля, она совсем не похожа. Она толстомясая, с двойным, белым подбородком, очень опрятная, расфранченная, и прическа у нее пышная, с гребешками. Стоит она здесь и высматривает, не возвращается ли с вокзала Монсель, агент по продаже земледельческих машин, ее любовник. Что то не видать его! А уж поздно, последний поезд. Темнеет. Моросит дождь. Пастух Христиан гонит с поля овец. Из ворот выбегают бабы забирать своих. Под большим зонтом, громко крича и стуча деревянными башмаками, гонится за убегающей черной овцой тонконогая девочка в черном. На станции, с натугой и хрипло, точно он изрядно выпил, свистит паровоз, и ложатся на мокрую, темнеющую дорогу желтые полосы от зажженных фонарей.

— Э, Жюль! — кричит мясничка Мари: — ты еще не знаешь?..

Свояченицы своей Жюль не долюбливал. Разные счеты были и дрязги. Она думает, что если она богата, то ему на нее наплевать нельзя. Пузо у нее большое. Ну и пусть ее любовник радуется… Не пашет, не косит, не молотит, в лес хворост

в снопы связывать не ездит, сидит в мясной за выручкой, вот и вся работа. Если бы Жюлю за выручкой сидеть, у него пузо еще не так бы вздуло. Дрянь баба. Мужу рога ставит, каких не имеют и его быки, да его же еще и лупит. С такой стервой разговаривать?.. Вперед, Маркиза!

— Жюль! — опять кричит Мари: — тебе уже говорили?.. Эрнестина родила.

— Эрнестина?.. Какая?..

— Как «какая»? Чурбан ты. Да твоя же Эрнестина, жена твоя.

— Моя Эрнестина?.. Стоп, Маркиза. Стоп!

Жюль медленно соскользнул с хребта кобылы и лицом обернулся к мясничке.

— Родила?!.. Уже?..

Мари рада была поязвить зятя. И оттого, громко расхохотавшись, она на всю улицу крикнула:

— А зачем ей откладывать? И то долго уже… По моему расчету, ей бы как раз в день венчания родить следовало.

Жюль стоял, широко расставив крепкие ноги, смотрел в землю и соображал.

— Родила… Вот оно… А?.. Родила?.. Вот, стало быть, уже и родила.

Маркиза много работала сегодня, сильно устала и проголодалась. Роды хозяйки и разговоры о

них ее не интересовали, и она спокойным шагом направилась домой. Сделав два-три политичных движения хвостом и робко оглядываясь на Жюля, последовал за подругой и малодушный Гарсонэ.

...«Вот так, — думал Жюль. — Родила?.. А?.. Значит, родила... Взяла, значит, и это самое... и родила»...

Теперь, стало быть, будет возня?

Да, теперь будет.

Возня будет здоровая.

Жюль не любил осложнений, не любил забот, не любил думать, и терпеть не мог разговоров. Иной раз оно бы и ничего, поговорить и занятно, да кто его знает, морока ведь... Например, чем кроликов поить, чтобы обильнее плодились; или отчего у лошади копыто потрескалось, — об этом бы поговорить ничего, можно. И о том, что вот, пошел ливень и косить помешал, тоже можно бы: — но нужны слова, — все разные слова... Бог с ними совсем!.. Вот когда за сохой, или, скажем, когда домой едешь, — и ни о чем хлопотать тебе не надо... Мысли спокойные. «Вот лес на горе, а под горой красные крыши... Колокольня высокая... Серая она, колокольня эта самая... всегда она серая... От дождей какое озеро на лугу сделалось!.. Во дворе у мэра бугай мычит... Бугай

ничего, здоровый бугай, бугай как следует… У старого Виара вино по случаю куплено. Говорит, хорошее очень вино… Надо отведать… Вот лес на горе, а под горой красные крыши»…

Спокойно и не трудно.

Но подлая Мари, — вот она! — явилась, и сейчас и то, и се… новости разные… «Родила Эрнестина»… И чего ей надо, туше проклятой!..

Маркиза и Гарсонэ поджидали хозяина у ворот конюшни. Лошади были мокры, и от боков их кверху подымался белый пар. Конюшней служило продолжение квартиры Жюля, и сообщалась она с нею дверью. Дом был каменный, двухэтажный и крыт был тоже камнем — почерневшими от времени плитами, которые местами обросли плотным ярко-зеленым мхом. В доме была дверь на улицу и одно окно. Верхний этаж был недостроен, и там хранился овес, пучки хвороста и сено. Перед домом, у самого входа, лежала огромная и высокая, аршина в два, плоская, прямо обрезанная куча навоза. Из нее вытекал и вился мимо двери коричневый ручеек, похожий на жидкий деготь. Навоз лежал давно, перепрел, перегнил, и оттого запах из ручейка шел такой удушливый, что у человека непривычного являлась тошнота, и приходило в голову, что лежит

по близости сильно разложившаяся падаль.

— Стоп, Маркиза, стоп!

Жюль пролез под шеей кобылы, открыл ворота, и лошади вошли. Жюль привязал их, насыпал овса. В углу, за перегородкой, жила свинья, которую откармливали к Рождеству. Свинья была хорошая, молодая, и росла и жирела чудесно. Но что то сделалось у ней на груди, меж передними ногами, лишай какой то. Это надо осмотреть. Свинья, однако, не давалась. Она угрюмо захрюкала и отошла в угол. Жюль придавил ее коленом к стене и обеими руками обхватил рыло. Ничего, лишай залечивается.

— Ты свинка хорошая, — сказал Жюль и дружелюбно потрепал свинью за соски. — Жиреешь, как следует… Зад у тебя — прямо как у мяснички Мари, хороший зад…

Нужно было еще к кроликам пойти, подстилку переменить, но Жюль подумал, что это и потом можно. Родила Эрнестина, — надо посмотреть. Если уж родила, — надо.

Жюль вошел в дом, у дверей сбросил с ног деревянные башмаки и остановился.

— Эрнестина, ты родила?

Прямо против двери был огромный очаг. Огонь в нем разводили на полу, на железном листе.

Несколько длинных жердей, перетянувшись поперек комнаты, едва тлели. Над огоньком, на толстой цепи, висел большой, обросший сажей котел. Перед очагом стоял стол с клеенкой, а над ним, в густом сумраке, смутно белели свесившиеся с потолка большие толстые плиты. Это сало. В октябре, на св. Мартэна, закалывали свинью, сало солили и вешали на крючках. Так оно и висит посреди комнаты месяцами, грязное, запыленное, засиженное мухами, и каждый день от него отрезают сколько надо для супа…

У стены кровать, высокая и широкая. Над ней деревянный карниз, и к нему прикреплены занавески. Когда ложатся спать, занавески задергивают и спят точно в шкафу. Теперь занавески отведены в сторону, и за ними, на красной подушке, чернеет чья-то всклокоченная, густая шевелюра. Подле кровати, на табурете, стоит высокий светильник, медный, без стекла. Коптит он много, а освещает чуть-чуть. Но и при скудном освещении видно, что беспорядок в комнате поразительный.

— Вишь-ты… родила! — говорит Жюль.

Широкое в скулах и узкое к низу, усатое лицо его приняло лукавое, многозначительное выражение. Смекалка у человека водится! И

баба, — хоть она, стерва, хитрая, — а мужа ей не провести.

Маленькие, голубые глаза Жюля весело искрятся…

— Значит, вот оно как, вовсе родила! — опять говорит он.

Косматая голова на красной подушке зашевелилась.

— А ты что же думал, кляча?

Что он думал!.. Вот сука! Что он думал!.. Многое думал. На то голова, чтобы думать. Такой это инструмент, чтобы думать… А вот орать зачем? Родила — и еще орет.

— Ты не ори… Ты что же это?.. Ты почему родила?

— А ты не знал, что от этого рожают?

Вот тебе раз!.. Это штука!.. Это ей Богу штука!.. Это она правильно… Против этого не поспоришь… Рожают. Верно. От этого все рожают… Но только… все же… погоди-ка! Как же так?

— Как же это так… Ты родила?

— А кто ж будет рожать? Ты, что-ли?

Голос Эрнестины злой, гневный. Жюль морщится, дует из носа в толстые усы и отступает.

— Я?.. Я не буду… Зачем?.. Вот выдумает чего…

И минутку потоптавшись у дверей, Жюль опять

приближается к кровати.

— Ну родила… А отчего ж скоро так родила?

Эрнестина злобно вспыхнув, приподнимается.

— Смеешь спрашивать?.. Кляча ты, падаль!

Светильник и мигающие огоньки очага тускло освещают худое, длинное лицо, над которым черной копной стоят густые, свалявшиеся волосы. Тонкие губы женщины крепко стиснуты, глаза сверкают злобой, и на длинной сухой шее напрягаются толстые жилы.

— Спрашиваешь, дьявол пьяный!.. А это что такое? А вот это что?.. А это вот кто сделал?

Эрнестина тычет пальцем в огромный синяк у левого глаза, в разбитую нижнюю губу. Она проворно высовывает из под одеяла обнаженную до паха ногу. Нога тонкая, костлявая, очень белая. Колено же сильно вспухло, и цвет его багрово-черный.

— Меньше б истязал и не вышиб бы ребенка, тварь подлая! Девять месяцев носила бы, как все люди. А теперь вот семимесячный, и он жить не будет.

Разве с женщиной столкуешься?.. Девять месяцев, семь месяцев, — она тебе всегда сосчитает. И еще орет! Как же ее не ударить? За дело, ведь, бьешь, — разве зря?.. Кто зря бьет? это вот она, ске-

лет безмясый, — осью, ступкой, шкурой бычьей, распятием, — чем попало… И без надобности. А мужчина — всегда когда надо… «Вышиб ребенка»! Разве ребенка можно вышибить! Ребенок внутри у матери прирос, он за кишки держится… Да чего тут разговаривать с ней!.. Пойти к старому Виару, и баста.

Жюль идет к своим деревянным башмакам.

А все таки Эрнестина что-то брешет, — думает он. — «Девять месяцев, семь месяцев»… Никто уж, кроме баб, и считать не умеет? Ого! Когда смекалка есть, так все сейчас можно увидеть. Еще как можно!

Разные мысли стали толпиться в голове Жюля. Интересные мысли. Но ухватиться было не легко, они не подчинялись. Рвались в сторону, назад пятились, — вот как кобыла Маркиза, когда иной раз запречь себя не дает, и ступает по оглоблям и копытами бьет по телеге…

Штука путанная — мысли свои собирать…

Семь месяцев, — размышлял Жюль: — Эрнестина говорит «семь месяцев»… А откуда же семь?.. И семи ведь нет… Два всего… с половиной, два месяца… Она брешет. Что то она тут брешет…

Жюль старается сосчитать. Хмурит брови, выпячивает губы, обросшие толстыми усами,

бормочет, загибает пальцы… Пальцы короткие, толстые, кривые, как поздние осенние огурцы, и загибаются с трудом. Их надо придерживать согнутыми, иначе они выпрямляются, как молодая упругая ветка, если ее согнуть и не придерживать. Счет запутывается, и пальцев не хватает.

Однако, чего-ж! — решает Жюль. — В конце концов, чорт с ней, с Эрнестиной. Семь месяцев, девять, десять, — это все равно… Хоть бы и пятнадцать!

Жюль воткнул ноги в башмаки и, громко стуча по каменным плитам пола, пошел к дверям.

— Ты куда?.. Ты это куда?.. закричала Эрнестина и костлявой рукой гневно ударила по постели.

— Ты в кабак?!

— Молчи, верблюд!

— Ты смеешь итти в кабак?

— Не твое дело, верблюд!

— Ты мне чего нибудь принеси. Мне анисовки принеси… Ты принесешь?

Проснулся новорожденный и стал издавать какие то странные, жалкие звуки: не то он кашлял, не то давился.

— Ты принесешь?

— Хо-хо-хо!

— Ты там сам нажрешься?

Жюль обернулся лицом к родильнице и не громким голосом, спокойно, не спеша, промолвил:

— Верблюд. И отчего ты не издохнешь?

Эрнестина схватила медный светильник и с размаху швырнула им в мужа. Но дверь за Жюлем уже запахнулась, светильник ударился в дверь, а потом шлепнулся на пол.

II

Могильщика Жако надули.

Его, как последнего мальчишку, надули, и он этого нисколько не скрывал. Да и то сказать: зачем же скрывать? Зачем покрывать мошенников?

Добросовестность, порядочность — это прежде всего, — рассуждал он. — А тут... Хорошо! Пусть посторонние рассудят: плату человеку назначили не помесячно, как это всегда практиковалось, как следовало бы, — но поштучно, за каждую могилу в отдельности. А потом взяли и перестали умирать. Честно это? По совести это? Могильщику, что же жить не надо?.. А никто не умирает, и третий месяц никому не надо могил.

Жако имел необычайно широкую, сильно согнутую спину, огромный, горбатый нос, круглую,

серую бороду, которую в иные воскресенья расчесывал, и ко всему этому — бас, такой же глубокий и темный, как и его могилы. Должно быть, дошел этот бас и до бога, и в неограниченной мудрости своей всеблагий рассудил, что с могильщиком уж лучше не ссориться. Итак рассудивши, исправил свою ошибку и поступил совсем уже по иному: в одну неделю в деревне скосил четырех человек. По божески поступил.

Теперь Жако заплатил в кабаке старика Виара все что был должен, а остальные из заработанного на четырех могилах пропил. После этого стал пить в долг. Пил виноградную водку и сливную, пил кислое красное вино, пил вино белое, но главным образом пил абсент.

— Абсент, — это то, что нужно, — доложил Жако Жюлю, сидевшему с ним за столиком. — Абсент, это абсент. А водки эти, ликеры, — пустое, одно рассуждение, и в них нет никакой крепости.

Анаиза Виар, дочка кабатчика Виара, сидевшая за стойкой, обиделась.

— Как «нет крепости»?! В нашей виноградной шестьдесят градусов.

Жако поднял голову, правый глаз закрыл, а левым подмигнул Анаизе.

— А в тебе самой, моя крошка, сколько в тебе

градусов?

Девица Анаиза Виар ростом была вдвое выше Жака, а лет ей было что то около сорока пяти. Со всеми парнями деревни и со всеми проезжающими она, на весьма сходных условиях, вступала в более или менее кратковременное сожительство. В последнее время, однако, она до такой степени износилась и облезла, что роспродажей ее остатков, даже и по крайне пониженным ценам, уже никто не интересовался. Ласки ее встречали упорное сопротивление, и на них, как и на могилы Жако, совсем не было спроса, даже и среди стариков.

— Ах, я и забыла, — жеманно щуря глаза, вскрикнула Анаиза, поворачиваясь к Жюлю. — Тебя, ведь, поздравить надо, ты сделался отцом.

Жюль исподлобья посмотрел на Анаизу и икнул.

— Отцом?.. Ага… Ну да, сделался… Поздравляй… А вот видишь, стакан пустой? Пустой, — значит надо налить…

— Что ж у тебя: наследник или наследница?

— Чего?

— Мальчика родила Эрнестина, или девочку?

Жюль уставился на стакан с абсентом, подумал и сообразил, что не знает и сам.

— Мальчик или девочка — это все равно, — разъяснил Жако. — Одна цена могилы, хоть и для мальчика, хоть и для девочки.

— Девочка, мальчик — это все равно, подтвердил Жюль, икая.

— Девочка вырастет — шлюхой будет. Сын также чорт знает чем сделается, — рассудительно гудел бас могильщика.

— Видишь ли, Жюль, — лукаво ухмыляясь, начала Анаиза, — тут вот говорили, что Эрнестина какое то чудовище родила.

Жюль поднес было стакан к усам. При последних словах Анаизы он стакан поставил обратно на стол и ничего ни говоря, уставился на кабатчицу.

— Чудовище? — спросил он шопотом.

— Да, кто то говорил… не помню кто… Кто то проходил здесь и сказал. Пол лица человечье, пол лица рыло. Вроде как у свиньи рыло.

«Ну! Правда?.. Вот здорово!.. Это очень здорово, чорт возьми!.. Про таких уродов слыхали уже… Даже рассказывают, с копытами родятся, и хвостатые. Иной раз — шерсть. И шерсть и хвост»…

— А, ты это не врешь, Анаиза? — уставился Жюль на кабатчицу.

— Сама я не видела, — невинно опустив глаза,

ответила Анаиза, — но кто то здесь рассказывал.

Кто мог рассказывать? — спросил себя Жюль. Соседки? Ну, значит, и налгали. Соседки всегда лгут. И Анаиза лжет. Ну хорошо, это, однако, можно и проверить. Это не то, что другое что нибудь!.. Другое — сказать скажут, а правда ли, ложь ли, никогда и не узнаешь. Тут узнать можно. Домой пошел — и узнал. Только и всего. Тут можно.

— Где моя дочка? — задумчиво прогудел вдруг Жако. — Раньше она в Нанси с офицерами шлялась… Известно, — заразилась, в больницу легла. А Гастон тоже: как военную службу окончил, поступил на железную дорогу и седьмой год я от него писем не вижу…

— Да что писать то! — дразнит старика Анаиза.

— Э! Кабы у его отца заводы были, как у графа де-Бюржа, или ферма богатая, вот тогда бы Гастон написал, — с грустью говорил могильщик. — И приехал бы к отцу. А могильщик зачем?., Налейка-ка, Анаиза!.. Могилу ему и там выроют.

— Могила что? Могила есть везде, — объяснил Жюль.

— Такой товар, что везде найдешь, — согласился Жако.

— Где угодно.

— Есть земля, есть и могила.

Жюль подумал и потом сказал:

— Уж если земля есть, то есть и могила.

— Земля, да заступ, — вот и готово.

— А ты что думал? Могила?.. В земле вырыл, вот она и могила.

— Уж не иначе, — прогудел Жако. — Это всегда так. Там что другое может и не так, а тут дело верное.

Жюль отхлебнул абсента.

— А то как же!.. Вот говорят: то, се… а я свое знаю, и меня не обманешь. Я без ошибки.

— Зачем ошибка? — Жако насыпал в трубку табаку и закурил. — Ошибки не надо.

— Потому, я понимаю дело! — почему то начиная раздражаться вскрикнул Жюль. — У меня, у самого, смекалка есть!

— А что если про могилу сказать, так она есть везде.

— Могила, — она не то что… Могила… она — могила… Могила, и больше ничего!

Ну, это поймет всякий: так, вот, сразу, вопроса не исчерпаешь. Но кое что все таки было проанализировано и разъяснено довольно детально. И не мало еще света пролили бы на дело собеседники, если бы не впуталась Анаиза.

— Господа! Какой абсент по вашему лучше:

шомонский или лангрский?

Жако вынул изо рта трубку и с недовольным видом посмотрел на кабатчицу.

— Лангрский. Куда ж ему? Шомонский, по моему, лучше.

— А многие говорят, что никакой разницы нет, одинаковы.

— Какая же там разница? все равно, и от лангрского пьянеешь, и от шомонского, — согласился Жюль.

— Вот только что шомонский как будто чуточку темнее, сказала Анаиза.

— Нисколько не темнее!.. Темнее? Выдумали!

Всякие свинства люди выдумывают: лангрский абсент, шомонский; темнее, светлее, — чорт знает что! Почему темнее? Ничего не разберут, а лезут.

— Никогда не может лангрский абсент против шомонского! — вскрикнул Жюль! И лицо его выразило злобную обиду. — Лангрский!.. Понимают они! Я бы им показал «лангрский»... Дураки!..

— А если темнее, то разве лучше? — спросил Жако.

— И не темнее, и не лучше! Кому другому пусть рассказывают, а со мной нечего тут!.. Я дурак, что ли? — закричал Жюль.

Глаза его сделались такими гневными и су-

мрачными, что Анаиза сочла необходимым успокоить оскорбленного человека.

— Боже сохрани! Кто же говорит?..

А не говорят, так пусть и не говорят… Какого чорта! Всякая сволочь будет соваться, а почему — неизвестно… Не понимают, — пусть спросят людей знающих. Объяснить всегда можно…

— Ты вот налей мне два стакана! — скомандовал Жюль: — и я тебе сейчас докажу. Я как две капли воды докажу. Я никого не испугался!

Он встал и с вызывающим видом пошел к стойке.

— Наливай два стакана!

…— Вот видишь! Вот он, лангрский твой, — говорил Жюль, когда два стакана абсента стали перед ним на цинковой доске стойки. — Вот он стоит, лангрский… А это вот шомонский. Видал? Вот шомонский, а вот лангрский… Вот и смотри…

— Ну, смотрю.

— Видишь лангрский? Видишь, какой он? Он — вон он какой. А шомонский — вот смотри! Видел? Ага?.. Посмотри-ка! Ага!.. Совсем уже не то. Где же? Этот вот, он — вот!.. А тот — вон он!.. Разве не видать?.. Вот этот вот — шомонский…

Жюль тыкал коротким, толстым и кривым, как

поздние огурцы, пальцем то в один стакан, то в другой.

— А этот вот — лангрский. Разница?.. Ага! Потому, этот, видишь, какой он? Ты гляди! Он совсем не такой. Тот — другой, а этот — опять другой… Ты смотри, не правда ли, он — вот он! Вот, ты видал? Стало быть, он — такой, а тот уж совсем не то… Шомонский то твой. Этот — он вот, вот же он! А тот… А что? А!

— Да-а, — равнодушно протянул Жако: — этот не так, чтобы… шомонский…

— Ну, так и не спорь. Ты со мной не спорь…

Победа была полная. Отрицать ее не было возможности. Могильщик сдавался. Обида в сердце Жюля сразу погасла, и он вернулся к столу.

— Меня не обманешь, — горделиво подмигивая, заявил он: — не такой я человек! Я никого не боюсь. Потому я знаю, что говорю. У меня смекалка есть. Я если не знаю, так и не говорю. А если уж говорю, так меня не собьешь. Потому, я без ошибки…

— Такое дело.

— Я докажу! Взялся — значит, докажи. А то зачем и браться?

— Если не можешь доказать, не берись, — сказал Жако.

— Самое лучшее! Но только я всегда докажу. Я все докажу. Я, старичина, тоже… Я не спиной думаю… Налейка, Анаиза!

Дым от трубок такой, точно спалили в кабаке фунта три ваты. Много народу. Плисовые, с огромными треугольными заплатами, штаны, жилеты с рукавами, нанковые синие блузы, топорные физиономии, бритые, без усов. У порога пар десять деревянных башмаков, а возле них лужа. Громкая неуклюжая речь, — про навоз, про дожди, про картофель, про корову Лебрэна, которую, хоть ты его убей, не хочет любить бугай. Сальные слова, грубые намеки, шутки, как глыбы гранита и такой же гранитный смех. Запах пота, абсента, вина, сыра, которым закусывают, и запах навоза. Звон пустых и полных стаканов и тусклое сверкание напитков в них.

К Жаку и Жюлю подсел дедушка Зозо.

Он коротенький, толстенький человек, с розовыми, как у девушки, щеками, с голубыми глазами, с круглой, шелковистой каймой седой бороды под челюстями, — от уха к уху. Усы сбриты, лысая голова как шар, а живот — котел. Это самый большой живот в деревне, если даже считать и мясничку Мари. Жюля дедушка Зозо поздравляет с новорожденным, Жако с покой-

никами.

— Докторша мне все дело гадит, — ворчит своим томным басом могильщик: — житья из за нее не стало, никто не помирает.

— Докторша хорошая, — говорит дедушка Зозо: — дело свое знает.

— Отчего ей и не быть хорошей? — Жако вынимает изо рта трубку и с досадой плюет. — Ей что? Помрет больной — ей платят. Выздоровеет — тоже платят. А я? Много я получу, когда человек выздоровеет?

— А все докторше приятнее, когда вылечит, — замечает Жюль: — заплатят лучше.

— Чорт ее принес сюда. Сидела бы в своей России, — нет, к нам приехала.

— Потому что в России лед, — сообщил Жюль.

— И казаки, — вставил Зозо.

— Всех вылечивает. — мрачно продолжает Жако. — Старого Мишеля, и то опять на ноги поставила. Чего не помирает? Будет с него.

— Восемьдесят девять лет, — соглашается дедушка Зозо. — Пора…

— Я вот сколько жду его, а докторша все за визиты получает.

— Много они понимают, доктора эти.

— Анаиза, мне вина! — заказывает Зозо. — Док-

тора?

Воры доктора. Пришла вот докторша к старому Вуарену из Аллианвиля, а Вуарен двенадцатый день без стула, живот ему, как у беременной коровы, вздуло.

— Вот бы распороть живот да спаржу удобрить, — проектирует Жюль.

— Пришла докторша и сует ему под мышку стеклянную трубку. Ну что это такое? Что тут стеклянная трубочка поможет?

— Не под мышку хоть бы совала, — намекает на что то Анаиза и хохочет: может оно бы и помогло.

Хохочут все.

— А Вуарен, знаете, не постеснялся и прямо говорит: «уж мне эту трубку совали, и ничего не помогло».

— От всех болезней одинаково лечат, — презрительно вставляет Жюль. — У меня понос был, тоже этой трубкой лечила.

Люди бывают глупы. И невежественны. Постоянно пашут, со скотом постоянно, и образования нету… Могильщик Жако насквозь видит всю их темноту.

— Дураки вы, — заявляет Жако: — это не трубка, а градусник. Инструмент, такой инструмент.

Чтобы градус болезни узнать, инструмент. Там такая стрелка есть, и показывает.

Жюль протестует:

— «Стрелка»! Какого только мошенничества не выдумают, чтобы у людей из кармана су выуживать!.. Распахали бы гектаров с десяток, тогда и знали бы… «Стрелка»! А что по стрелке этой видать?

— Говорю тебе, Жюль, ты болван, — отстаивает права науки Жако: — все видать по стрелке, какая болезнь, какая кровь, где засорение, и сколько градусов… Мой Гастон в полку воспалением легких болел, и у него градусник уж тридцать семь градусов показывал. А самое большее человеку сорок градусов дано. Уж когда сорок — конечно! Рой могилу…

— Ну? — недоверчиво восклицает дедушка Зозо. — Сорок? И у Гастона уже тридцать семь было?

— Тридцать семь… Без малого тридцать семь, без половины. Чуть не умер парень.

— От градусника и умрешь, — убежденно заявил Жюль. — Гастон молодой, он и выдержал, а старику начни ка тыкать эту стрелку твою — всегда помрет.

— Ты, Жюль, болван!

— Нет, я не болван!

— Еще какой болван!

— Нет, я не болван. Я тебе докажу, что я не болван.

Еще приходят люди. Башмаков у дверей набралась целая гора. В густых облаках дыма раскрасневшиеся потные физиономии. Галдят, чокаются. Звон стекла, смех, икота. Смачно сосут трубки, громко плюют, толкаются. Стучат кости домино, звенит по цинку стойки брошенная монета. Испарения от алкоголя, испарения от закуски, испарения от людей и копоть ламп. Анаиза Виар угощает абсентам Абеля, молодого кучера, и впиваясь в него жадно сощуренными глазами, настойчиво просит посветить ей в погребе… Жако и Жюль пьют. Обсуждают разные вопросы — мало ли у людей вопросов и пьют. И остальные все тоже пьют.

А время идет, — думает могильщик Жако: — такую уж оно имеет особенность, что оно идет. Там, делом человек занят, или, может быть, с приятелем закусывает, или так себе, без надобности прогуливается, а оно — господь с ним! — оно все идет да идет. И уж тут трудно что нибудь сделать, очень трудно.

Вот полночь.

Одним из последних Жако и Жюль оставляют кабак.

Они идут под руку и рассуждают, оба сразу. Чертовски темно на улице. И грязь. Как только дождь, так и грязь. Всегда так… И здорово же скользко, чорт возьми! Если откровенно сказать — это свинство большое. Надобно, чтобы не было скользко, — чтобы людям было удобно ходить. Черт знает что! Республика! Вот и республика!.. Да, а старый Мишель не помирает! Докторшу требует?.. Ну это пустяки!.. Не поможет ему! Хоть докторша, хоть землемер, хоть начальник станции — ничего не поможет… Помирай! Надо помирать. А не помрешь — хуже будет! Что в самом деле?! Пятьсот лет — это ведь только праотец Адам столько жил… Будет хуже — и конец. В тысячу раз хуже будет, — кляча старая!..

Однако, надо расставаться.

Не все могут жить направо. Жако живет направо, возле кузни, а Жюль — он прямо, против церковного сада. Надо итти прямо, — говорит Жюль темноте. Анаиза тоже сказала, что надо прямо итти. Всего не упомнишь, — отчего же не справиться? Жюль справился у Анаизы насчет того, где он живет, и она сказала: «прямо, прямо». Анаиза знает, — убеждает темноту Жюль. — Ана-

иза бедовая девка! Она все знает. Она шлюха, но все здорово знает… Стоп! Осторожнее!.. Вот чорт!.. Это телега?.. Ага, телега!.. Зачем поставили телегу?.. Нет, это забор. А забор с какой стати?.. Сволочи, забор надо? В морду, вот и забор. И Анаизе надо в морду. Почему она говорит, что Эрнестина родила чудовище? Пол лица как лицо, а пол лица как рыло?.. Рыло? А, мерзавка!.. У человека — новорожденный, у человека — первенец, господь человеку сына послал, а Анаиза — оскорблять?!. Пол лица — рыло? Постойте-ка: за это по морде…

Жюль в бешенстве идет прямо вперед, к оскорбительнице. Но сделав два-три шага, он натыкается на чью то вытянутую вперед руку, и в это же время другая рука быстро схватывает его за чуб и дерет, — с такой силой, что дикий визг вырывается из горла бедного пьяницы.

— Анаиза… Эрнестина… Голубушка… Не буду…

Жюль летит на другой конец комнаты и спиной ударяется в дверь: силы у Эрнестины, не смотря на то, что она родила несколько часов назад, еще водятся.

— Вон в конюшню! — Кричит она.

Подле Эрнестины, на табуретке, где раньше стоял только светильник, теперь светильник

и две бутылки. Одна уже опорожнена, в другой вино доходит до половины.

— Эрнестина… жена моя… дружочек!..

Эрнестина откидывает назад голову, горлышко бутылки приставляет ко рту. Глу-глу-глу…

Жюль смотрит — и негодование опять приливает в его сердце.

— Пьянствовать?.. Ты смеешь?.. А свинью зачем родила?

— Вон в конюшню!

— Нет, зачем ты свинью родила?

— Уходи, пьяница!

— Пол лица — лицо, пол лица — рыло?.. Не желаю!.. Я покажу…

Отделиться от двери — дело не легкое. Но Жюль преодолевает и эту трудность. Он выпрямляется, сжимает кулаки, выставляет вперед голову и идет на бой, к жене.

— С хвостом?.. Копыта?.. Ты как смела?.. Я с хвостом не желаю… Я покажу копыта!..

Скользко бывает не только на улице, когда идет дождь, а и в комнате. Жюль скользит, поэтому, шатается, зацепляется за жерди, торчащие из очага, и с глухим шумом шлепается на пол.

— Ага, опять телега… Везде телега… Ну, вали в телегу…

Он лежит неподвижно, как прибитый.

— Не хочу с копытами, — начинает он всхлипывать через минуту: — Эрнестиночка… дорогая моя… не хочу со свиным рылом… Не хочу его…

III

Жили себе, как раньше.

Новорожденный, которого назвали тоже Жюлем, мало мешал. Он был крохотный, как щенок, какой-то бурый, весь в морщинах и в прыщиках. Лежит в корзинке и спит. А когда не спит и не сосет резинового наконечника бутылки, в которой молоко, то кричит. Много, страшно много кричит, и от крика этого должно быть еще сильнее делается боль, вырывающая крик. Так мучительно кричит он и плачет, что кажется — это голос самого страдания… Иной раз охрипнет малютка и станет басить. Тогда похоже, будто это Жако рассказывает про могилы…

В корзине подушка и разные лохмотья, — все мокро, воняет, и маленькое тельце ребенка тоже воняет. Мясничка Мари подарила племяннику хорошенькое одеяльце, золотистое, с алой полоской, но через несколько дней оно сделалось таким же грязным и смрадным, как и тот, кого оно прикрывало.

Корзину с ребенком Эрнестина таскала с собой и в хлев, и в поле, и к общественному бассейну, где стирала белье. Она работает, а ребенок сосет резиновый наконечник. Сосать перестанет и примется кричать. А измучится от крику — заснет.

— Ничего, не хуже других выростет, — отвечала мать, когда ей говорили, что очень уж от ребенка воняет.

Эрнестина была тощая, костлявая, слабосильная. Работала много, но трудную работу делать не могла. В детстве у нее сделалось воспаление тазовой кости, и теперь левая нога была точно вывернута в тазу. От этого Эрнестина на ходу странно приседала, — как будто падать собиралась, — а по лестнице она взбиралась с большим трудом. Случалось, что от сырости, или от неловкого движения, нога разболевалась, и тогда Эрнестина ходила с палкой. Она лечилась: натиралась мочей и «старинной мазью» — конским жиром, который сохраняли на чердаке в течение семнадцати лет. От него по всему телу делались чирья, через них «болезнь выходила наружу, и становилось легче»...

Однажды Эрнестина привязала две селедки к больному месту и забинтовала, но это совсем не помогло. Болтают люди всякий вздор, и Эрне-

стина только диву давалась: как можно верить в селедки. Она никогда уже не лечилась селедками.

Жюль работал как раб. Встанет, поест, — сала кусок, или сыру, или остатки супа, — вина несколько стаканов выпьет и с Маркизой и Гарсонэ отправится в поле. Дождь, холод, ветер, зной — он в поле проведет и шесть часов, и восемь, и двенадцать, сколько надо. Домой вернется и долго топчется дома, — хлебы месит, навоз на телегу нагружает, дробит камень для шоссе. Здоровье у него железное, он никогда не хворал, и устает он редко. Он не избалован, не знает нежностей. В доме у него воняет? грязно? Ну, это пустое: воняет, или не воняет — это все равно. Не всем герцогами быть. Вон у свояченицы Мари не воняет, все чисто, и есть зал, а насчет любовников — мое почтение!

У Эрнестины любовников нет. Она безумно влюблена в мужа, — это раз. Никто на нее не польстится — это два. Жюль спокоен. Нету любовников. Но если бы были, то что ж? Есть любовники, нет любовников — это все равно. Ну, там, побить Эрнестину, отчего же не побить? Побить за такое дело всегда следует. Но только, в сущности, это все равно. И если бы умерла Эр-

нестина, это тоже все равно. И маленький Жюль если бы умер, тоже не велика бы беда. Вообще ни в чем большой беды нет. Об чем хлопотать!

Жюль живет спокойно, беззаботно, и огорчения у него какие же? Большим уважением или весом в деревне он не пользуется, но будь у него родство такое многочисленное, как у дедушки Зозо, его бы тоже выбрали муниципальным советником. Теперь не выбирают — ну так что! Абсент от этого менее крепким сделался? Абсент всегда абсент, и выборов он не боится.

Жюль косил, молотил, пахал, стриг овец, работал в лесу и находил еще время возить докторшу на практику по соседним деревням. Пока докторша у больного, Жюлю выносят угощение, вина или водки. В одном доме, в другом, в третьем… Если угощением медлили, Жюль уходил в кабак и угощался сам. Дело в том, что когда человек в пути, то не хорошо, чтобы горло было сухо. Работающему человеку вообще надо выпить. Белоручки всякие — это, конечно, другое дело. Пером туда-сюда, в книжках там, прощение какое надо написать, составить опись, — это и без выпивки можно. А человеку трудящемуся надо, чтобы был фундамент, чтобы по настоящему было. Человеку трудящемуся сила нужна. А без

вина откуда же сила? От вина у человека кровь очищается. Маленький Жюль, недоносок, как козявка, еле живет, а стали ему красные вина давать, и пошел мальчишка расти. Дело известное!

С поездок Жюль возвращался пьяным на половину, дома он дело доводил до конца. Но и совсем пьяный, Жюль с ног не падал, и даже работал довольно исправно.

С Эрнестиной же было совсем иначе: она и пьянела скорей, а опьянев, годилась уже только для словесных упражнений. Упражнялась превосходно. Растерзанная, хромая, косматая, она ходила по деревне и во всю глотку выражала негодование по поводу того, что никто не хочет убить ее мужа. Когда человек так безобразно пьянствует, то его надо убить. И запереть его надо. Пусть докторша выдаст свидетельство, и этого подлого пьяницу сейчас же запрут в сумасшедшем доме. Вот и все. Если он пьяница, он опасен для всех, и таких людей всюду запирают и будут запирать.

Об этом она доводила и до сведения Жюля. Тот спокойно слушает, хихикает и икает. Время от времени, не торопясь, он посылает какое-нибудь подходящее слово: «стерва», «верблюд»... Эрнестина разозлится и, ковыляя хромой ногой, направится к мужу с человеколюбивым намере-

нием треснуть его крышкой от котла по голове. Жюль подпускает ее довольно близко и потом, удовлетворительно нацелившись, бьет ступней в живот. Эрнестина отлетает прочь, стоящие позади нее предметы опрокидываются по сторонам, а она сама с диким ревом падает на них. Если на руках у нее маленький Жюль, он откатывается в сторону, и в то время, как Эрнестина воет и ругается, а победоносный Жюль хохочет, маленький недоносок, полуголый, мокрый, окровавленный, разрывается от плача и визга. Его не подбирают, не успокаивают, и он вижжит лежа на камнях, долго — до тех пор, пока в глотке его все побагровеет и распухнет. Тогда голос его становится басистым и темным, и кажется, что это могильщик Жако говорит о могилах.

В воскресенье и в праздники было иначе. Жюль брился, надевал другую одежду. Варили суп из свежего мяса, а не из солонины. Больше пили и раньше начинались драки. В поле не выезжали, но дома работали.

Вывозит Жюль из конюшни навоз, а мимо идет Жако. На могильщике черный сюртук, шляпа-котел, глаженое белье, и виден из под бороды голубой галстух. В руках коротенький и толстый молитвенник.

— Второй раз прозвонили. Отчего к обедне не идешь?

— К обедне?

Жюль, напрягаясь, подсовывает вилы под толстый слой сильно утоптанного навоза.

— Зачем я пойду к обедне?

— Все же Пасха сегодня, богу помолиться.

Вилы с навозом подняты в воздух и затем опрокинуты в тачку.

— А твой бог отвезет мне навоз в поле?

— Отвезет, как же!

— То-то же! Он не беспокоится…

Жако задирает кверху голову, мотает ею, и под бородой распластывает галстух, к которому не привык и который стесняет.

— Богу зачем беспокоиться? Он у нас с ренты живет, ему хлопотать незачем.

— Он за меня работать не станет, — с мрачной серьезностью говорит Жюль, — ну и больше ничего.

— Он бы хоть работника своего тебе в помощь послал, — подмигивает Жако. — Святого какого-нибудь.

— Он себе свое дело знает, а я свое. Вот и все.

— Святого он бы, пожалуй, и не пожалел, да всех их за водкой услал.

— Вот и весь разговор, — по прежнему мрачно ворчит Жюль.

— Праздник, ему тоже пососать хочется.

— Он свое знает, а я свое знаю. Только и всего.

Жако корешком молитвенника скребет себя по шее, под бородой: мешает галстух!

— Старенький ведь бог. Кашляет… Может, и натереться спиртом хочет. Святую Магдалину позовет: на, скажет, Магдалина, натри мне поясницу спиртом.

— Докторшу бы позвал, — советует Жюль. — Она ему сейчас трубку свою всунет.

— Ах вы свиньи! И не страшно вам говорить такое? — кричит Эрнестина, показываясь на пороге. — Оттого вам и счастья нет, что вы такие пакости говорите.

— Да бог не услышит, — успокаивает Жако Эрнестину. — Говорят тебе, он старенький. Глухой, как кобыла тетки Мариолоты.

Тачка уже наполнена. По доскам, как по рельсам, Жюль вывозит ее на улицу и сваливает к огромной куче старого спресованного навоза. От свежего кверху поднимается белый пар. Жюль задумчиво смотрит на него и медленно произносит:

— Ничего… перепрел здорово.

— Кто это, бог? — спрашивает Жако.

— А?.. Да нет, я про навоз.

— Ну, я думал, бог перепрел.

Жюль устал разговаривать. И надоело ему. Запутанное что то, сложное, а зачем?.. Ничего, хороший человек Жако, подходящий. Но всегда разговаривает. Идешь в церковь, иди! Иди, когда идешь. А то останавливается, — и разговор.

— Бог что? — говорит Жако: — никакого от него толку. Звонишь ему в колокола, свечки палишь. Кюрэ морды бреют и без баб обходятся, — а какой толк?

— Толку никакого нет, — хмуро и из одной только вежливости, поддерживает беседу Жюль.

— Нигде нет толку… Во времена империи все это не так было. Хлеб, так он тебе был хлеб! Дрова — были дрова!.. А так, чтобы разное там, и все — этого не было…

И минуту помолчав, он начинает опять.

— Тоже и дети: теперь дочка — шлюхой делается. Теперь все чорт знает как идет.

Жюль молчит: не желает он утруждать свой дух! Но Жако не унимается.

— При Генрихе IV у каждого крестьянина в супе курица была. Да… А теперь — вот! Теперь машины пошли. Что такое, почему? — Неизвестно. А

погоды портят: в конце апреля морозы. Четвертую весну в садах цвет замерзает, и погибли все фрукты, яблоки, сливы.

— Сливная водка дороже виноградной, — вставляет Эрнестина: — этого, кажется, никогда не было.

— Фабрики, заводы; фабрики, заводы! Трубы до неба, дым, копоть, облака от этого, тучи. Весь климат перепортили… Когда я мальчиком был, помню, всегда тепло было, а теперь — Сибирь сделали.

Тает в ясном весеннем воздухе благовест. В теплой лазури быстро несутся веселенькие облачка, а по улице спешат девушки в светлом и пестром, с зонтиками и молитвенниками. И бабы идут, одетые в черное, и крестьяне в сюртуках или в новых нанковых блузах.

На некоторых цилиндры, довольно дикой формы, впрочем, а у иных, помоложе, лакированные ботинки.

— В церковь все… Вон и старый Мишель выполз — сердито говорит Жако. — И до каких же это он пор!.. Второй год меня водит.

— Все живет, — сочувственно вздыхает Эрнестина.

— На прошлой недели совсем уже отходил, а

теперь опять поправился. Все докторша эта… Ну, ничего, однако, долго не проходит. Уж вертись, как знаешь, малютка, а ты мой… И сейчас вот я его еще припугну… Он могильщика боится. Я пугну… Ему это хорошо… Здорово это ему.

Мишель, высокий, изможденный старец, с длинными седыми космами на плечах, с жалобным, как бы умоляющим лицом, с трясущимися руками и ногами, тихо топчется по солнечной стороне. Могильщика, скрытого выступом конюшни, он не замечает и подвигается вперед старчески-частыми, старчески-маленькими, в два вершка, шагами. Когда он подходит к дому Жюля, могильщик внезапно выступает из-за конюшни, делает шаг вперед и впивается в старика свирепым, укоризненным взглядом.

— А-ааа-аа! — кричит старик странным, нечеловеческим голосом. И всем длинным телом своим он поддается назад. — А-ааа-аа!

Последние угасающие силы уходят на этот крик. И слышится в нем дикий, мучительный ужас человека, увидевшего смерть… Крик так страшен и чудовищен, что Маркиза в конюшне пугливо мечется и бьет копытами о пол. А Жако делает еще один шаг к старику, останавливается, поднимает кверху указательный палец и, ни

звука не издавая, медленно и долго грозит…

Старик трепещет. Судорожными руками ищет он позади себя опору. Нащупывает стену, припадает к ней, головой и плечами, весь неестественно вытягивается. Ступни его бьют по стене, глаза полны ужаса, рот широко раскрыт, и из него, не прерываясь идет все тот же, налитый безумием и тоской, мучительный, дикий хрип:

— А-ааа! А-ааа!.. А-ааа!..

IV

Маленькому Жюлю не было года, когда у него появилась сестра. Ее назвали Ирмой. Жюль перешел в кровать матери, а Ирма заняла корзину брата. Корзина к этому времени стала разваливаться, и ее вдоль и поперек перехватили бичевками. Вместе с ребенком и подушками она представляла какую-то с первого взгляда непонятную, серо-бурую, смрадную и грязную кучу. И все, что в доме было, — и самый дом, и маркиза с Гарсонэ, и Жюль с Эрнестиной, все было чрезвычайно грязно и дурно пахло. Не было, кажется, ни одного целого предмета, — все было изувечено, поломано, разбито во время драк. Вместо тарелок были черепки, склеенные рыбьим клеем. Металлическая посуда была измята и протека-

ла. Ножи были без ручек, стулья без сидений, в комоде недоставало верхнего ящика, стенные часы стояли уже с полгода, фаянсовый циферблат был растрескан, а маятник отломан. Паутина, пыль и копоть были на стенах и на потолке, и везде ползли насекомые. Не чистили лошадей, а кролики оттого, что их содержали неопрятно, все передохли. Огород был в плохом состоянии, весь зарос сорными травами, и плохими были поля Жюля. Их не во время и неправильно унаваживали, и не во время вспахивали и засевали.

Работал Жюль, по прежнему, много, постоянно работал, но не все делал в свое время и беспорядочно. Эрнестина видимо ослабевала, — от пьянства, от родов, от побоев, от лечения… После рождения Ирмы, у нее, на протяжении пятнадцати месяцев, было два выкидыша, а спустя еще год, родилась девочка, которую назвали Луизой.

Все дети были тощие, хилые, и цвет лица их был белесоватый, как цвет слегка подсохшего теста. Маленький Жюль долго не становился на ножки, зубы начали у него показываться к двухлетнему возрасту, а ходить он начал только когда ему уже исполнилось три года. И говорить он долго не начинал, и думали даже, что он будет немой. Он все еще очень много плакал, громко,

визгливо, и рвал и ломал все, что попадало под руку. Злость и жестокость в нем обнаруживались удивительные. Он кусался, вцеплялся людям в волосы, в бороду, бил детей, бил животных и неодушевленные предметы. Он не был горбатым, но при тонких ногах и руках имел необычайно массивный затылок, почти как у взрослого. Голова его склонена была книзу, и смотрел он в землю. Это придавало ему странное сходство с Жако и казалось, что он тоже оглядывает на кладбище место и соображает, как приступить к рытью могилы… Его, как свиней, влекло всегда к грязи, к канавам и лужам. Долгими часами он рылся в навозе, выкапывал червяков, накатывал их на палец и давил, хлопая ладонью в ладонь. У отца он крал табак и курил, а чего не выкуривал, сыпал в огонь и в котел, где варился суп.

Когда Жюль дрался с Эрнестиной, мальчик смотрел на драку с выражением радости; при особенно ловких ударах он всплескивал руками и восхищенно визжал. Мать угрожала ему, гнала прочь, но мальчик отбегал в сторону, радостно гоготал, высовывал язык и делал неприличные жесты.

Маленький Жюль болел глистами и извергал их из себя в несметном количестве. Как и от

малокровия, течи из ушей и носа и постоянного расстройства желудка, — и от глистов его лечили вином. Обращались раза два и к докторше, но та поставила мальчику свою стеклянную трубку — это раз, и строжайше запретила давать ему вино — это два. Жюль негодующе пожал плечами. Вот история! Ну, а что было бы с мальчиком без вина? Докторша молоко назначает. Но какая же в молоке сила? Оно в кровь не войдет, оно белое. А капли — это тоже одна болтовня. Капля, хоть бы и десять капель, — какое это может иметь влияние? Вина выпьешь стакан, вино разбежится по жилам в крови, — и вот и делаешься крепким.

Вина маленькому Жюлю за день давали стакана два-три. Но он вино крал и выпивал его сколько удавалось добыть. Ирма и Луиза тоже пили, хотя и не так много.

Ирма была тихое и забитое существо, странное и сложное. Родители почти не били ее, но маленький Жюль истязал немилосердно. Повалит на землю, лицом вверх, коленками станет на живот и бьет кулаками по мертвенному лицу, и рвет обеими руками негустые, светлые волосы. Ирма не сопротивляется, не защищается, не плачет, а только стонет протяжным, тихим стоном, и порою стон этот прерывается глубокой

и напряженной икотой. Как будто зародилась икота где-то очень глубоко, и кто то намотал этот звук на кулак, как наматывает на него волосы сестры Жюль, и потом по прямой линии вытащил через горло, разорвав по пути все внутренности девочки.

Ирма была очень пуглива: боялась темноты, снега, старых людей, громкого шума; боялась оставаться одна, боялась, когда людей было много. Часто и беспричинно она вздрагивала, потом внезапно цепенела, и синие глаза ее делались при этом большими, круглыми и неподвижными — точно нарисованными. Она страшилась разговоров про покойников и испытывала ужас при виде похорон, — и почему то всегда за похоронами шла, на самое кладбище, и ни на минуту не уходила, когда Жако рассуждал о могилах… Слушала внимательно, напряженно, вся замирая. Зубы стиснуты, губы раздвинуты, судорога проходит по ногам и в узенькой спине, меж лопатками. И какое то неопределенное, загадочное выражение лежит на бледном, продолговатом лице девочки; может быть омертвение ужаса, может быть тайное блаженство, — жадное, нестерпимо сладкое предвкушение великого, всепокрывающего отдыха…

Маленький Жюль, угадав, что сестра боится темноты, хитростью или силой, вталкивал девочку в темный погреб и там запирал… Зимой он вставал рано утром, чтобы набить ей ботинки снегом… Маленькую Луизу он кусал, залеплял ей навозом нос, уши, рот. Раз и совсем зарыл ее в навоз, она уже стала задыхаться, и ее еле, еле спасли.

Когда Жюль стал ходить в школу, он там всячески пакостил учителю и товарищам. Мальчики жестоко били его, но он не унимался, рвал их книжки и тетради, обливал чернилами завтраки, и истязал всех, кто был слабее его… Однажды он поймал утку и стал выщипывать у ней перья. Утка отчаянно крякала и билась, а он радостно хихикал. Общипав наполовину, он сделал из подтяжки петлю и повесил утку на оглобле.

Он ходил скорчившись, сжавшись, вложив стиснутые кулачки в карманы куртки и придавив локти к ребрам. Смотрел он искоса, исподлобья, недоверчиво и враждебно, и похож был на злого пакостника-гнома. В нем было много недетского и чего-то нечеловеческого. По ночам он говорил со сна, садился на постель с закрытыми глазами и жестикулируя говорил, — громко, отчетливо, скаля зубы и болезненно корчась. И все, что он

говорил, было запугиваньем, скотскими мечтаниями, зловещей угрозой. Зловещим он был во сне, зловещим он был на яву. В колючих, угрюмых глазах его, в неуклюжих движениях, в голосе — то пронзительно-визгливом, то хриплом и тупом, — притаилось что-то тяжелое, опасное и роковое, — и страшно было подумать, что мальчик этот выростет. Он и теперь уже был злым вместилищем пороков и извращений, ходячим источником неприятностей и тревог. И клеймо преступления, черное клеймо жестоких и мрачных дел, уже и теперь явственно намечалось на его узком, как у старухи сморщенном, лбу.

Дети росли, как колючки на меже, никто за ними не смотрел, и никто о них не заботился.

Все трое были чахлые, загаженные, оборванные. Их никогда не купали, очень редко они меняли белье и ночью спали почти не раздеваясь, — чаще всего в обуви. Вши обсыпали их. У маленького Жюля выработался особенный жест: он выносил руки вперед, сгибал их в локтях и начинал отчаянно шевелить лопатками: это он чесался. Похоже было, будто он пилит, тащит пилу сверху вниз, и дети в школе прозвали его пильщиком. Часто он подходил к дереву, к стене, и начинал усиленно тереться спиной, как это

делают свиньи.

У Луизы, которая была самой заморенной и самой хилой, личико было в непроходящей сыпи. Постоянно воспаленные глаза сильно слезились. Ирма питала необыкновенную привязанность к сестренке и ласково няньчила ее и голубила. Но маленький Жюль мешал ей: он вырывал малютку и уносил, бил Ирму, и чтобы огорчить ее сильнее, щипал и обливал водой и Луизу, которую, однакоже, любил и сам…

Все трое часто и подолгу оставались голодными. Маленький Жюль, не стесняясь, заходил в первые попавшиеся двери к соседям и, без слов, вперял сумрачный, враждебный взгляд на шкаф, где лежал хлеб. Он ходил по чужим конюшням, отыскивая куриный насест, забирал яйца и выпивал. Если удавалось поймать, его били. Он при этом стискивал зубы и молчал. А потом возвращался домой, заходил в хлев, брал полено и нещадно бил овец. И плакал при этом, и кричал диким, исступленным голосом…

Ирма была высокая и тоненькая. Если бы ее умыть, причесать и одеть в чистое, особенно если бы в белое, то стало бы видно, что у нее странная и необыкновенно привлекательная внешность.

Продолговатое, изящное лицо с удивительно

тонкими чертами. На нежной, бледно-матовой коже неожиданно резко выступают широкие, слегка выпуклые глаза, и цвет их — как цвет воды в швейцарских озерах: он синий с серебристым отсветом горных туманов. И смотрят из глаз этих скорбь и тихий испуг. И никогда не уходит из глаз этих тихий испуг, он виден во всех жестах девочки, в походке, и в каждом ее слове. И даже косички ее, наивные, прямые, тоже полны тихого испуга, и оттого они так печальны и мертвенно бледны…

Испуг мешал Ирме слушать, из-за него она не могла понимать, и в школе она была последней ученицей. Она никак не могла одолеть азбуку, потому что на каждую букву смотрела с неугасающим испугом, и с испугом слушала голос учительницы, которая называла эти буквы… На Ирму махнули рукой и почти совсем перестали с нею заниматься.

В одиннадцать часов все девочки убегали домой обедать, но Ирма оставалась и испуганно жалась на пугающем школьном дворе…

Ей хочется домой, — поиграть с Луизой, ей хочется есть. Но есть дома нечего, а играть с Луизой не даст Жюль. Он уж наверное притаился где-нибудь в горохе, или в листве на верхушке дерева,

и как только завидит, что Ирма играет с Луизой — бросится на сестру и станет ее бить. И Луизу будет бить…

Однажды он такую вещь проделал: вступил в дружбу с Ирмой, обещал прочный мир и даже подарил ей красную солдатскую эполету, которую украл у каптенармуса Этерно. А когда Ирма доверилась ему, и испуг исчез из ее скорбных синих глаз, мальчик подвел сестер к кусту ежевики, сам посадил Луизу к Ирме на плечи и потом, внезапным ударом в живот, обоих опрокинул на колючие прутья куста…

Голодная Ирма, с испугом в глазах, бродит до часу по школьному двору, или по деревне, и все ждет, что вот-вот выскочит откуда-нибудь Жюль, и ждет других бед, — неведомых, таинственных, и оттого еще более опасных и мучительных… А в час занятия начинаются опять, опять являются пугающие буквы; и каждую в отдельности, по нескольку раз, громко, так громко, называет пугающий голос учительницы…

Семья пришла в большое обеднение, и ей грозила полная нищета. Но выручила неожиданность: раньше предполагавшегося пришло наследство от матери Эрнестины — старухи Фонтэн.

Это случилось в сезон вишен, в июле.

Вишен уродило необыкновенно много, и это было общей радостью. И молодые тоненькие деревца, наивные, еще не отрастившие ветвей, и похожие на воткнутый в землю прут, и старые гиганты, которые гигантами были уже тогда, когда самые ветхие жители деревни лазали по ним мальчишками, — все обсыпаны, облеплены были вишней. Это было какое-то страстное, бурное состязание садов, полное веселья и восторга, и в нем до крайнего напряжения доходила вся сила деревьев, вся мощь. Густым переплетом корней жадно пили они из земли крепкие соки, наливали ими свои стволы и ветви. И душистые листья наливали, и потом, с млением блаженства, как молодая мать молоко первенцу, отдавали живые силы плоду…

Все виды вишен уродили одинаково обильно. Были прекрасные, дерзостно-алые вишни, полные светлого жидкого сока, — прозрачные до того, что совершенно явственно, как через стекло, виднелась в них косточка. Были мясистые, чернопунцовые, как сгущенная кровь. Были золотые, как спелый лимон, с нежно розовыми жилками на обращенных к солнцу бочках… И такое было их великое множество, что местами деревья казались не зелеными, а красными…

На заре клевали вишню воробьи, с пьяным криком тучею перелетая из сада в сад. И люди не сердились на них, а дружелюбно и светло улыбались, ибо знали люди, что не все истребят птицы, что для всех хватит господней щедрости… Детишки вишню съедали в несметном количестве, и целый день можно было видеть их счастливые, смеющиеся рожицы, вымазанные красным вишневым соком, как кровью. И руки, и передники, и чулки, и тетрадки, и волосы на голове, и белая шерсть весело прыгавшего Трезора, — все забрызгано и запятнано было этим соком…

Везде и всюду разговоры были о вишне, хвалили ее полноту и сочность, запах ее и яркость, вспоминали, сколько лет назад был еще такой же богатый урожай, и старались найти объяснение этому необычайному изобилию. Варили варенье, пекли пироги, приготовляли наливку и кое-где курили уже из вишен водку. В садах стояли высокие лестницы, иногда связанные из двух небольших. По ним взбирались женщины с кошелками, а ребята, возбужденные, радостные, с веселым визгом, проворно, как молодые обезьяны, цеплялись по отягченным ветвям в озаренной солнцем листве. Качались под ними ветви и гнулись, иногда дети скользили и срыва-

лись, но тут же ловко и быстро схватывались за другие ветви, и смех при этом делался еще более беззаботный и более веселый… Ослепительно яркие вишни звали к себе и манили, лукаво дразня всем очарованием своей свежести, всей нежной сладостью своего аромата… И не докончив общипывать ветку, люди бросали ее, взбирались выше, уходили дальше, к другим, еще более привлекательным, еще более щедро обсыпанным красной, сверкающей искрой…

Какое обилие! Какая ликующая роскошь! Какой безумный, безбрежный разлив!

Те, которые не могли взбираться на деревья, — старцы и маленькие, — и всем помогавший Трезор, — толкались на земле. Кто-нибудь тряс дерево, спелая вишня, с густым и дружным стуком, шурша по листьям, буйным дождем падала на помятую траву, и при каждой новой волне этого алого дождя стоявшие внизу люди стремительно с пестрым взрывом веселых восклицаний, толкая друг друга, бросались подбирать алые шарики… Запах вишен, сладкий и влажный, запах оторванных листьев, которые падали на головы, на плечи, на руки, возбуждал и веселил. От него, и от игривой сутолки, и от яркого солнца, молодели и оживлялись старики. Давно одервеневшие

спины разгибались, давно начавшие трястись руки протягивались бойко, давно отуманившиеся глаза искрились и светло улыбались при виде смеющегося блеска вишен. И что-то мечтательное, что-то доброе и ласковое, зарождалось вдруг в груди: у стариков — тихие воспоминания, тихие отсветы счастья далекого, у молодых — смутные грезы о счастье грядущем.

И нежным волнением охвачена девушка испанского типа, со всех сторон, как зеленою волною моря, затопленная бурною листвой. Вся она в белом. Желтая туфелька легко опирается на гибкую ветку, и длинные тонкие пальцы ухватились за ветку над головой. Уже не собирает девушка вишен, а поет, — странно взволнованная, вдохновенно поет она старинную сказку про храброго рыцаря Don Galor. При Шарлемане, при великом Шарлемане, первым из первых был этот рыцарь, и сердце прекрасной Азелии, благородной и гордой, заслужил подвигами, совершенными при обходе земли.

Это сказка, это не больше как сказка, — признаются чистые переливы девичьего голоса, — это всего только старая сказка, — но если нет в наши дни чистой любви, — говорят они затем, — если не слышно в наши дни про великое мужество

духа, — поведай нам старая сказка, поведай про время минувшее, про подвиги и чудо былого. О, поведай нам, добрая сказка!..

На пышных, темных волосах девушки мягко играют алые вишни, вдоль стройной шеи скользят атласные листья. И звуки песни так прекрасны, и так пленительны, что, кажется, сами они убраны и пурпуром вишен, и ароматом листа, и золотом июньского солнца.

Привет ей, светлой. Благодарный привет милой девушке, стоящей там, наверху, и так звонко, красиво так и сильно поющей всем людям про мужество рыцаря.

Привет ото всех, от молодых и старых, от будущего и прошедшего, от скорби умершей, от радости и веселья родившихся…

И сверкают шутки, также густо сверкают, как вишни, и древние старцы соперничают с пятилетними внуками, ползая на коленях по траве или вырывая у малышей зацепленные старым зонтом и согнутые книзу ветки… Вспыхивают веселые ссоры, сыплются дружелюбные насмешки… Не удержав равновесия, скользит по траве и падает навзничь ветхий дед, а правнуки, измурзанные вишневым соком, со звенящим смехом, захлебываясь от восхищения, как ягнята, пры-

гают и кувыркаются вокруг, и чистый хрусталь их голосов кипит и струится, — и сквозь светлую листву, где вдохновенно поет она — милая девушка в белом, — взвивается вверх, к сочувственно, ласково глядящему небу.

Привет ей, светлой!

От скорби умершей, от радости и мечтаний родившихся, от песен, цветов и от солнца, —

Привет!..

* * *

У матери Эрнестины, старухи Фонтэн, было три огромных вишневых дерева за селом, на склоне холма, среди виноградника. Это была чудесная вишня, круглая и мясистая, напоминающая и формою и цветом бычье сердце, и оттого и называющаяся coeur de boeuf.

По всему холму лег виноградник, и лоза его поднялась настолько уже высоко, что надо было ее привязывать. Для этой цели около каждого куста воткнут был шест, и шестов этих было так много, что издали, казалось, идут в зелени большие отряды войска с тонкими пиками.

Старуха принесла с собой корзину и лестницу, но лестница была коротка, и на верхушку деревьев старуха пробиралась по веткам.

Что-то случилось: ветка ли скользнула и подогнулась, нога ли на сантиметр левее или правее направилась… Старуха свалилась на землю.

Она упала так несчастливо, что левый глаз ее пришелся как раз на одну из пик, к которым привязывали лозу.

Пика прошла через мозг, и смерть была почти мгновенная.

…Голубое, безгрешное небо, такое доброе, такое милое, и тихий склон холма с тихим ароматом лозы, и светлые дали, и ласка, и мир, и чистая, ясная нега.

И разбитое тело человека, из которого хлещет горячая кровь.

Вишни в корзине, упавшей под спину, раздавлены, алые струйки сока текут между прутьев плетенки, они смешиваются с кровью человека, и с ней вместе уходят в песчаную почву виноградника.

V

Дом и виноградник — вот наследство.

А наличные деньги все достались мясничке Мари.

Так как Эрнестина не знала, что мать свалится с дерева в этот день, то с утра напилась. Ребятишки

прибежали в деревню с неожиданной вестью о несчастьи, но пьяная Эрнестина долго не могла сообразить, чего от нее хотят. А когда сообразила, то бросилась на виноградник. Мясничка Мари тоже бросилась туда, еще раньше. Но по дороге она забежала в квартиру матери и, как следует обшарила погреб. В стене, позади высокой бочки, она нащупала давно знакомый выступ. Коротким железным стержнем, которым в мясной точат ножи и который она догадалась захватить с собой, она выступ расковыряла… Узелок!..

Не развязывая, и даже не оглядывая находки, взволнованная Мари сунула ее, вместе с железным стержнем, за пазуху и побежала к покойнице.

Она громко рыдала над мертвой матерью и крепко обнимала разбитое, окровавленное тело. Но железный стержень, торчавший за пазухой, стеснял, — он толкал в грудь и живот и мешал нагибаться… Мари голосила, причитала, целовала остывшее лицо покойницы, и при этом мысленно негодовала на себя и себя бранила, — за то, что не освободилась от железного стержня, не бросила его по дороге куда-нибудь в траву… Потом пришла бы и взяла… Никогда никто не заметил бы.

Еще и еще причитала она и плакала. А когда

растерзанный труп подняли и понесли, лицо Мари исказилось вдруг выражением ужаса и дикой растерянности, страшен был вид растрескавшегося черепа с вывалившимся мозгом, и страшно было внезапно сверкнувшее опасение, что в узелке за пазухой — одни только серебряные монеты. Золото же все и бумаги остались в погребе в другой стене, где — вспоминалось Мари — должен быть еще один выступ.

Дом и виноградник сестры поделили.

Разумеется, поработать Жюлю пришлось тут не мало, и об этом он всем рассказывал обстоятельно. Нотариус, ведь он бестия. Сейчас тебе с толстомясой Мари снюхается. И все так и норовит, чтобы Жюля опутать… Бумага! На какого дьявола бумага?! Виноградник, — ну и подавай виноградник! И дом если — подавай сюда дом! А бумага, вот этакая куча бумаг, — не надо этого… Все это так, чтобы голову затуманить. Первые воры — нотариусы… Ну, однако же и похитрее их люди найдутся. Если у человека смекалка есть, он и нотариуса не боится.

Когда Жюль вопрос о наследстве, как следует, обмозговал, хорошенько все взвесил и все в точности по несгибавшимся, толстым, как огурцы, пальцам подсчитал, то выяснил окончательно,

что нотариус прохвост. Ну, а если прохвост, так для чего же это скрывать? Никакой надобности нету. И говорить надо всякому. Потому что самое дорогое — это правда! И какая же, позвольте спросить, тут будет правда, если свою половину виноградника Жюль получает не в собственность, а во временное пользование, на семь лет? И если вместо половины стоимости дома наличными и сразу, он будет получать какие-то ежемесячные взносы?

А потом владелицей всего станет эта жирная морда с гребешками, Мари?

Почему так? — любопытствовал Жюль. Потому что у нее пузо? Так что ж из того, что пузо?

Да если бы Жюль ничего не делал и сложа ручки за кассой сидел, то у него, может быть, пузо еще выше вспухло бы!

— Не в пузе дело, — вмешивался Жако. — Ведь вот, поля твои. Пропил ты свои поля?

— Это дело мое, если пропил.

— Заложил ты поля?

— Оттого, что мои, оттого и заложил. Не чужие закладывал.

— И пошли бы они все с молотка, — невозмутимо басит Жако. — А Мари за тебя нотариусу заплатила долг.

«Заплатила долг»… А наплевать, если заплатила!.. Разве Жюль боится?.. Он никого не боится… «Мари долг заплатила»… А нельзя бы узнать толком, сколько именно она заплатила? Во сколько была заложена земля? И сколько наросло процентов?.. Ага! То-то же!..

Нотариус думает, что только он один понимает? Жюль тоже кое-что смекает… А законы он все как свои пять пальцев знает. Законы — вот они! Как на ладони…

— В законе сказано: убилась старуха — дели дочкам виноградник пополам! Чтобы без обиды… А если дом, — мне одна половина дома, толстомясой — другая. Вот оно, как в законе! А нотариус — вор.

— Это у них такое ремесло, — соглашался Жако: — с законами. А закон — для грабежа.

— «Поля выкупила»!.. Ты думаешь, если поля, так я испугался?.. Поля!.. У всех есть поля… У кого — под овес, у кого под пшеницу… Кому что надо… Поля!.. А я тебе скажу так: поля, хоть они там и поля, а кишки я ей выпущу.

— Кишки?

— Кишки.

— Врешь, не выпустишь.

— Выпущу… Поля полями, а в мясную к Мари

войду, — «здравствуйте». — Нож со стойки возьму, — и пршт! — выпущу кишки.

— Что ж, могилу бабе вырою.

Дом, оставшийся от старухи Фонтэн, находился в аренде у старого Виара, и от кабачика Жюль и должен был получать деньги. И ни одного сантима наличными он от него не получил, а все забирал напитками, — и это было удивительно удобно. Заходи, пей, угощай, — а платить не надо. Кого хочешь, угощай, — платить не надо! Весь кабак, все бочки и бутылки в твоем распоряжении. Старый Виар там что-то записывает, — ну и пусть записывает.

Жюль не боится. Это Виар умеет — записывать. Специалист. Пусть себе он записывает. А тот, кто не дурак, вместо того, чтобы карандашом туда-сюда черкать, лучше возьмет да и выпьет.

— Неправда разве? — Жюль хитро подмигивает. — Тот возьмет да выпьет.

А если толстомордая Мари и обобрала, так пусть она за это трижды издохнет. Жюль не какая-нибудь жадная свинья, ему хватит. Вот, говорят люди, Мари это нарочно так устроила, чтобы от Виара он аренду получал. Она хочет, чтобы соблазн был, чтобы он скорее спился окончательно, чтобы пропил свою половину и чтобы дом ей,

Мари, достался скорее. Ну этого не будет. Дом ей никогда не достанется. На суде Жюль докажет. Он, когда надо, все докажет, и свое получит. Но главное, жадным никто не смеет его назвать!

Пили теперь Жюль и Эрнестина значительно больше прежнего. Вино на Жюля не оказывало уже никакого влияния, в каком бы количестве он в себя его не влил. Абсент тоже слабо действовал, и удовлетворение Жюль испытывал только тогда, когда пил абсент в чистом виде, без воды. Но и от этого напитка Жюль с ног не падал и работал почти так же много, как и раньше. И пахал, и косил, и молотил, и в дорогу ездил. Он только осунулся заметно, сделался сутулым и каким-то серым, и не так свободно, как в былое время, таскал на чердак мешки с пшеницей.

Эрнестина абсент употребляла редко, но зато в большом количестве пила вино. Она высохла еще сильнее, лицо ее покрылось морщинами, глаза стали красными и широкими, и постоянно сочилась из них какая-то мутная влага. Хромота ее усилилась. Теперь, когда Эрнестина шагала, левая нога точно подламывалась, и одновременно правое колено быстро сгибалось и высоко поднималось кверху. Правая часть живота и бок при этом как-то особенно уродливо выпирались

и вздрагивали. Тряслись у нее руки, иногда все тело, она с трудом справлялась с самыми незначительными работами. Почти все делал для нее Жюль: пек хлебы, стирал белье, клал под квочку яйца. Еще грязнее, еще гаже сделалось в доме, и все предметы в нем были обломками, обрывками, лохмотьями. Настоящей клоакой была постель. Подушки были без наволок; одеяла, тюфяки, все отрепья никогда не проветривались. Пьяные, в полубессознательном состоянии, и Эрнестина, и Жюль сваливались в кровать, извергали из себя выпитое и съеденное, все оставалось здесь, в складках тряпья, и засыхало. На старую грязь ложилась новая, на эту опять свежая, — и так неделями, месяцами…

У Эрнестины стала болеть печень, временами колики делались до такой степени невыносимыми, что приходилось посылать за докторшей, и та делала впрыскивания морфия. Несколько раз желчь разливалась у Эрнестины, и тогда эта изможденная, морщинистая, хромая женщина, со сбитыми, как овечья шерсть, волосами, с трясущимися костлявыми руками, с глазами, в которых порою уж сверкали приближавшиеся искры безумия, делалась отвратительной и страшной, как сама смерть. И чужие люди, и

собственные дети пугались Эрнестины, и только маленький Жюль с напряженным и радостным любопытством рассматривал мать и весело хихикал… Эрнестина от этого свирепела, разражалась руганью, гонялась за мальчиком, вынося вперед длинные, плоские руки, с которых вниз свисали грязные отрепья. Правый бок ее взлетал кверху, разорванная кофта распахивалась, обнажалось костлявое, желтое тело, — и как мокрые чулки, шлепались по сторонам длинные, дряблые, пустые груди с черными сосками.

Жюль убегал, взбирался на крышу конюшни, победоносно и радостно хлопал в ладони. Он сдирал с каменных плит старый мох и швырял им в голову матери. Потом он принимался разбирать крышу, или ломать трубу.

Каждый день мальчик делал пакости, — у себя дома и у соседей: вытаптывал огороды, перепиливал ствол ползучего винограда, выпускал на волю кроликов, всыпал телятам в ноздри горчицу… В школу учитель больше не пускал его, и даже угрожал, что будет хлопотать об отдаче мальчика в какую-то исправительную колонию.

Ирма все больше и больше худела, вытягивалась, и все резче становилось на лице ее выражение вечного испуга. И вместе с испугом

росла в ней привязанность к Луизе. Она нянчила сестренку, носила ее на себе, на своих узеньких плечиках, пела ей тихие песенки, — и голос ее был бледный, печальный и испуганный. У Луизы были дугообразные, неодинаковые ножки, огромная продолговатая голова и черные зубы. Сыпь, которая появилась на ее лице, вероятно, еще в материнской утробе и потом никогда не сходила, теперь превратилась в большую язву, охватившую весь подбородок и углы рта. Она поднималась уже и выше, и поразила левый глаз. Из него тек желтый гной, и на густые, как мед, капли его садились лакомиться крупные зеленые мухи. Они слетались с Маркизы и с Гарсонэ, с перепревших куч навоза, и темными кружками устраивались на гниющем лице девочки. Кожа у Луизы омертвела, сделалась нечувствительной, и ребенок даже не отгонял мух. Когда приходила Ирма, Луиза ей улыбалась, становилась веселой, прыгала на своих неодинаковых ножках, резвилась и просила у нее есть. В отсутствие сестры она голодала молча. Ирма выкапывала на огороде редьку, морковь, собирала с кустов смородину, и тогда начинался пир.

Потом дети играли в прятки, уходили в поля собирать букет из алого мака или на лесную

опушку за желтыми цветами авриколя. И смешную песню удода слушали они тут, и стрекотание кузнечиков. И гонялись за бабочками. Ирма, по пояс в траве, а Луиза по самую голову, бегали, барахтались, кувыркались. Они ложились на животы и плавали в траве. Ирма при этом подражала тетке Мари, которую видела однажды плавающей в Марне, а Луиза, которая плавающего человека еще не видела, подражала Ирме.

Трава пахучая, мягкая, сверху теплая, — и это так приятно. Трава пахучая, мягкая, и снизу, у корня, влажная и прохладная, — и это так приятно. Так приятно прятать в траву лицо, так весело разводить по ней руками, так шумно бурлят фонтаны брызг сзади, у ног…

— Луиза, вот они какие брызги, — кричит Ирма.

И даже испуг умер теперь, и только радость свободная слышится в голосе девочки.

— Ты видишь, какие великолепные брызги!

— Да, да, я вижу! Ух, какие!..

— Брызгай тоже, Луиза, брызгай крепко.

— Я крепко!

— Так, как, хорошо… Ах, как хорошо!

— Ах, как хорошо!

Озаренные солнцем, озаренные радостью, об-

литые нежными отсветами неба и яркой травы, девочки плавают, кружатся, бегают… Нет никого! Взрослые — в деревне, или в поле, дети, если-бы и прибежали сюда, сейчас и отстранились бы от Ирмы и Луизы. Нет никого!

Как хорошо, когда нет никого!

Только ветерок плывет по верхушкам трав и, улыбаясь, шепчет им что-то кроткое, милое; только сладкие запахи леса носятся вокруг; только добрый удод поет свою смешную и добрую песню. Нет никого!

Дети играют в «тени». Ирма становится спиной к солнцу. Ее тень, прозрачная, голубая, тихо застывает на траве. Переваливаясь, как уточка, маленькая Луиза незаметно подкрадывается, — хоть и делает вид, что идет совсем в другую сторону, — и внезапным, наивно-лукавым движением наваливается на тень и ловит ее ручонками. Но Ирма делает быстрый скачок в сторону, вместе с ней скачет и тень ее, а Луиза, потеряв равновесие, кубарем катится в траве и задирает кверху свои неодинаковые, кривые ножки… Поднимается смех, — такой звонкий, такой светлый, точно не только здесь, на опушке леса, за деревней, но и во всем огромном мире, нет никого; точно все в этом мире — голубое небо, и лесной аромат, и

ласковый шопот влюбленных цветов…

Умолкнет добрый удод на высокой ветке липы и с любопытством станет смотреть на детей. И старая липа, светло улыбаясь, на них смотрит. И весь бор на них смотрит, и цветы все, и травы, и пестрые бабочки, и вытянувшаяся над крышами и домами серебристая колокольня смотрит с тихой и кроткой улыбкой…

И застынет вдруг Ирма, раскрыв шире глаза свои, и удивленная, станет слушать…

Поют?

Кто поет там, в лесу, на холмах?..

За частым строем сомкнувшихся сосен, чьи голоса звучат так нежно и сладко?..

Ирма видит: это поют маленькие, белые облачка. Так вот отчего спешат они так в теплой своей синеве!.. Вот почему все они стремятся все туда, — к бору, к густому и старому бору!

Веселой толпой собрались они там, доброй толпой маленьких добрых девочек, — таких добрых, каких в деревне нет…

Там играют они и поют, и быстро машут белыми крылышками. Там едят они куриный суп из стекляных ложек, и получают новые сапожки из золотистой кожи. Там всем дают куриный суп, там для всех приготовлены новые сапожки…

Вот… поют! Вот машут белые крылья… Вот звенят стекляные ложечки.

— Ты слышишь, Луиза! — сзывают детей, всех детей сзывают, и всем дают новенькие сапожки из золотистой кожи!..

А уже в траве что-то странное шевелится, и что-то в траве невидимое шуршит.

То не змея. То подкрадывается маленький Жюль.

Тихо и медленно подкрадывается он к сестрам, и когда до места доползет — с диким визгом вынырнет и бросится на Ирму. Побьет ее, оттаскает за волосы, а Луизу взвалит к себе на плечи и унесет…

Несколько раз Ирма пробовала защищаться и вступать с братом в бой. Она была значительно слабее его, но дралась с мужеством отчаяния и, случалось, выходила победительницей. Плача от бессильной ярости, мальчик отступал, а Ирма уносила отбитую сестренку с собой… Но скоро Жюль нашел верное средство побеждать: с кулаками он накидывался уже не на Ирму, а на Луизу…

Он вцеплялся ногтями в изъязвленное лицо девочки, отдирал корки, наросшие на язвах, — и тогда на щеках Луизы выступала и разливалась

перемешанная с гноем кровь. Луиза начинала мучительно кричать, а Ирма вся разрывалась от безумного плача…

Победитель Жюль уходил и довольный, улыбающийся, слонялся по деревне. Везде его гнали, и если не ленились, били…

Когда жива была старуха Фонтэн, она часто кормила внука. Она была скупа, жадна, и хоть накопила немало денег, питалась всегда сухарями и постной похлебкой из картошки и гороха. Внучек, заходивших к ней, она обыкновенно спроваживала домой.

— Подите, подите, мамка сегодня хороший суп сварила, не такой, как у меня, — с салом, с мясом, — подите скорей!

Но случалось и так, что она давала детям немножко похлебки или пару картошек. Жюль был ее любимцем, и ему она почти никогда не отказывала в еде. Теперь мальчику негде было есть, и в течение лета он заметно отощал. Ему шел уже десятый год, но на вид больше семи ему не дал бы никто…

Голова его еще больше прежнего ушла в плечи, а глаза никогда не смотрели прямо: они буравили сбоку и исподлобья. Две резкие морщины поднимались от переносицы поперек лба, а другие две

шли от ноздрей вниз, мимо углов рта, к краю челюсти. Руки он всегда держал в карманах куртки, туго обтягивая ее на круглой, как корыто, спине. Когда на нем куртки не было, он руки все-таки держал в привычном положении, прижатыми к бокам, согнутыми в локтях, и кулаки его были стиснуты.

Оттого ли, что его никогда не купали; оттого ли, что он заразился у Луизы, — на голове его образовалась сыпь, скоро слившаяся в сплошную, серо-желтую, сильно лоснившуюся корку. Только снизу, сзади, над шеей, да висках, подле ушей, торчали волосики. Все же остальное было сковано корой, и было похоже, что обтянули голову бычьим пузырем и потом обильно смазали жиром.

К недоеданию, к чувству голода он сумел привыкнуть, и оно, сравнительно, не очень его тяготило. Но мучительно было отсутствие напитков… То количество вина, которое он получал дома, его совершенно не удовлетворяло, и он поэтому сильно томился, постоянно испытывал какое-то особенно напряженное беспокойство, и когда только представлялась возможность — воровал вино. Он залезал в чужие погреба, уносил столько бутылок, сколько мог захватить, прятал-

ся потом в сене, или на огороде, и пил — молча, серьезно, деловито…

Мясничка Мари, чтобы дать некоторое удовлетворение общественному мнению, стала подкармливать племянников. В деревне много говорили, что Мари ограбила сестру. Строились догадки насчет наличных денег покойницы Фонтэн, которые «сумела нащупать» мясничка, а Жако прямо говорил, что она ловко роет землю в погребах и скоро возьмется за его ремесло и станет рыть могилы…

Жюль, Ирма и Луиза стали ходить к тетке Мари обедать. Но с Жюлем вышла история: он забрался у тетки в погреб, просверлил в боченке с вином дырку и стал сосать…

Нашли мальчика на другой день мертвецки пьяным.

Он лежал в погребе, на ступеньках, а у ног его была огромная лужа вина, так как все вино из трех имевшихся в погребе бочек он выпустил.

С этого времени тетка Мари маленького Жюля больше к себе не пускала. Общественное мнение теперь ее одобряло, и только один Жако незыблемо стоял на своем и утверждал, что Мари — стерва, такая большая стерва, что он могилу для нее не станет рыть даже за тройную плату.

Угрюмый, подавленный и напряженный, как беглый каторжник, почуявший погоню, слонялся маленький Жюль по деревне, опасливо озираясь, и старался добыть вина — украсть или выпросить. Ему иногда давали пить, — для потехи или из жалости, из убеждения, что теперь уже мальчику не пить нельзя, и что без выпивки он скоро умрет. Но чаще прогоняли его прочь и швыряли в него камнем, поленом… Он толокся около кабака Виара, и когда раскрывалась дверь, торопливо нюхал табачный запах…

Когда курили где-нибудь в деревне водку, он уже не отходил от куба ни на минуту и присутствовал при всех манипуляциях… Зеленоватую влагу разливают в бутылки, пробуют; закупоривают, расставляют бутылки в ряды, — Жюль смотрит искоса, исподлобья, жадно — тоскливыми глазами. Время от времени он вздыхает, ноздри его трепетно вздуваются, а трясущиеся губы перекошены…

Тестообразную, коричневую, как кофейная гуща, массу, остающуюся от винограда после выгонки спирта, выбрасывают на навоз. Она тепловатая, от нее идет пар, и в паре этом чувствуется еще запах алкоголя. Жюль впивается глазами в коричневую кучу, сладострастно зами-

рая вдыхает в себя ее теплый запах, и на бледном сморщенном лице его гримаса сладкого терзания…

Раз как то он не выдержал, припал к теплой гуще и стал ее глотать. Она была противная, терпкая, от нее тошнило и сжимало глотку, но мальчик, зажмурив глаза, весь скорчившись, весь в судорогах, взвизгивая и всхлипывая, глотал, все глотал…

VI

…Чтобы у докторши заработать пять франков, ее нужно вести в самый Шамбронкур. Тринадцать километров туда, тринадцать назад — двадцать шесть. Да пока она больных осмотрит, да пока ребятишкам оспу привьет, — сколько времени! А у Виара можешь выпить и на пять франков, и на шесть, и на сколько угодно, а возить никого никуда не надо. И если в дом вино нужно, тоже Виар доставит. Вот захотелось Жюлю полубордо иметь — заказал, и готово! И есть полубордо. А платить не нужно. Уж об этом старуха Фонтэн позаботилась, давно вперед заплатила за полубордо.

Жюль сидит и тянет полубордо. А с ним тянут Эрнестина и Жако.

У Эрнестины лицо раздутое, глаза мутные и

красные, волосы растрепаны, пестрят в них соломинки и перья. На ссохшемся, жалком теле ее рваная кофта висит, как в безветренную погоду флаг на шесте. Жюль в загаженных, плисовых штанах, в заплатанной рубахе, босой. Широкая в скулах физиономия его кажется еще шире от добродушной, самодовольной улыбки. У Эрнестины лицо гневное, почти свирепое.

Я уж и к жандармам ходила! — кричит она. — Из за нее, из за мерзавки, у меня девочка заболела… Знать не хочу, а чтобы процесс! Полвиноградника, полдома пусть мне подают!.. И деньги!

— Деньги Мари украла, — гудит бас могильщика.

— Украла? — Жюль прищуривает один глаз и пренебрежительно, с приятным сознанием своего превосходства, испытующе смотрит на Жако. — А красть, это как, по закону?

— Закон для грабежа.

Жюль тянет полубордо.

— А я им докажу, — говорит он, держа стакан перед мокрыми усами. — Я на суде все докажу… Меня не обманешь. Процесс — и больше ничего!

Затей процесс, и пока там что будет, а Виар, пожалуй, перестанет отпускать вино и водку. Как же затевать процесс?.. Но если о процессе

разговаривать, водку и вино выдавать будут беспрепятственно. Отчего же о процессе не разговаривать?

— Ограбила, подлая, а теперь, милостыню мне подает, — ударила кулаком по столу Эрнестина. — Детей моих кормит, туша… А я знааю чем она кормит!.. Вон у Ирмы горло болит, — отчего оно болит?..

— Я им докажу… — твердит Жюль. — И горло, и все… Я все докажу… без ошибки… Я не боюсь…

— Бояться не надо, — соглашается Жако. — Это лишнее. Бойся, не бойся, а раньше времени не помрешь… Вот старый Мишель боялся. Всего боялся: смерти боялся, меня боялся… А как пригрозил я ему тогда пальцем, то уж и совсем сдурел от страху.

— Мама, — тихо стонет слабым, испуганным голосом Ирма. — Мама… больно…

Девочка лежит на кровати. Лицо ее серое, с сизыми налетами; глаза странно сверкают. К выражению испуга, которое всегда сидит в них, теперь присоединяется еще отпечаток немой тоски, отпечаток какого то особенного, мучительного недоумения… Что то необычайное, дикое и грозное, происходит перед этими расширенными и потемневшими глазами, что то таинственное

и опасное, — и никто другой этого не может знать…

Девочка беспомощна, одна… одна перед смутным сонмом враждебных видений.

— Мама…

— Видите, Жако!.. Все сестра моя постаралась!.. Что поделаю?.. Возьми, Ирма, прополощи… Хорошенько прополощи и выплюнь… Сейчас поможет.

Она наливает Ирме вина и подает. Девочка с испугом смотрит вокруг… Кто это?.. Это Жако здесь сидит?.. Отчего же подземелье?.. Узкие коридоры везде, и веет сыростью… Ах, как холодно! Какой ветер!.. Темная фигура машет когтистыми крыльями, и шурша клубятся мглистые тени.

Отчего так холодно? так сыро? Так громко завывает ветер?..

Худенькой, бессильной рукой Ирма тащит на себя лохмотья, и на их грязной черноте длинные, бледные пальцы ея вырезаются отчетливо, как мрамор.

Маленький Жюль, сидящий на пороге, злобными глазами, исподлобья, буравит и сестру, и ожидающий ее стакан полубордо. И весь замирает от жадной зависти, от больной страсти…

…— Старый Мишель был дурак, — говорит

Жако: — испугался могильщика и уж никогда один на улицу не выходил. Всюду кухарку с собою брал. И на ночь, от страху, брал кухарку к себе в постель — от смерти спасался. А от смерти не спасешься, уж она свое возьмет всегда.

Ирма мечется. «От смерти не спасешься, она свое возьмет всегда…»

Темная фигура с когтистыми крыльями вдруг надвинулась на Ирму и осветилась тусклым, сероватым туманом. Череп, открыт рот, в нем черно и пусто… Длинные, серые руки идут от плеч; в них нет костей, они мечутся и извиваются, как обеспокоенные змеи. Вместо пальцев, змеиные головы с открытой пастью, и из пасти вываливается игловидный, светящийся, зеленый язык… Стучат кости и, не переставая, веют темные крылья. Холод идет от них, тяжкий холод, и он снежным покровом облепляет все тело Ирмы и лицо ее.

Смерть.

Это смерть.

«От смерти не спасешься, она свое возьмет всегда…»

— Уж это известно, — подтверждает Жюль. — Смерть своего не уступит.

Ирма трепещет. Темный рот черепа раскры-

вается шире. Стук костей делается отчетливее. Руки — змеи разматываются вперед. Выше поднимается размах когтистых крыльев, и когти вспыхивают зеленым блеском Ивановых червяков.

Отчего так холодно?.. Холодно…

Отчего так тесно?.. Тесно…

Отчего так затихли все?..

Отчего страшно пахнет плесенью?..

Смерть. Это смерть… «От смерти не спасешься, уж она свое возьмет всегда. Смерть своего не уступит…»

— И придет, когда вздумает, — весело подтверждает Эрнестина. — Взлезешь на дерево вишни рвать, — она и на дерево за тобой полезет… И уж она штука крепкая, она уж навеки…

Ирма мечется. Что это так стискивает горло?.. Ах, как лоснятся змеи!.. Как они холодны и влажны!.. И темные крылья уже не машут? Они уж не машут. Они застыли и стоят мертвой черной стеной. И Ивановы червячки все погасли. Все погасло и стало черно.

И не видно маленького Жюля. Где маленький Жюль?.. О, уже не будет он больше бить Луизу. Все венки останутся у Луизы. И красный мак, и желтый авриколь, и все белые лилии.

Смерть.

Смерть — и Жюль уже не страшен. Все белые лилии останутся у Луизы, все белые лилии… Но где Луиза?.. Ах, нет Луизы… Ее нет! Ее нет!.. Не будет Луизы?.. Нельзя будет видеть Луизу никогда, нельзя будет видеть Луизу. Это уж навеки. Смерть штука крепкая, она уж навеки… О, Боже, Боже…

— Глянь-ка, Эрнестина, что-то твоя девчонка брыкается заметил Жако: — дурно ей, что ли…

Эрнестина оглянулась на кровать, быстро вскочила и бросилась к Ирме. Жюль тоже поднялся и пошел к девочке.

— Вот штука… Ну вот!.. видишь ты, — озадаченно бормочет он, шевеля короткими и толстыми, как поздние огурцы, пальцами. — Теперь, значит, сахарной воды надо… Дай ка ей сахарной воды… Сахарная вода — без ошибки…

— А я вижу, что она брыкается, — гудит Жако, поднимаясь. — Ты спиной к ней, а я лицом, и мне видать… Прямо сказать: брыкается девчонка, Умирает, что ли?

Маленький Жюль стоит, прижав локти к ребрам, в глубоком недоумении, и с дрожью какого то совершенно нового, необычного, таинственного наслаждения, раскрыв глаза, смотрит на мертвенно бледное лицо сестры…

— Умирает… ишь ты… умирает…

Смутная и нежная истома овладевает им… Ему как будто и стыдно чего то, — и стыд этот ему удивительно приятен… Что то загадочно и сладко щекочет, и ему хочется, чтобы щекотание сделалось сильнее, и ему хочется, чтобы щекотание скорее окончилось… Он соловеет, он дышет часто и громко… Кружится затуманенная голова… Он хмурится, он ежится, он трепещет… Блаженная улыбка разливается по его лицу…

— Умирает… она умирает…

С хихиканием, захлебываясь и вздрагивая, потягивается он. Он чувствует сладкое, мучительно-сладкое раздражение. Оно душит его, и оно обдает его блаженством. И хочется, чтобы оно разрослось еще, и хочется, чтобы оно мгновенно угасло…

С рычанием, похожим на смех, со смехом, похожим на всхлипывание, мальчик бьет ногой о пол и в сладострастном изнеможении хрипит…

И облегчения нет. И разрешения нет. И сладкая мука терзает, и жестокая сладость когтит.

VII

— Женщины. Они ничего не понимают, думал Жюль. — Разговор разный, и все. За докторшей

хотят посылать…

И Мари прилезла. Она всегда прилезет… Вымытая, в корсете. Смотреть противно. Да и воняет от нее, чорт бы ее взял.

Шум такой подняли, что не вытерпеть…

И чего сидеть дома?.. Присылала докторша, в Трампо везти — и превосходно!

Уехать — а они тогда пусть тут шумят. Сколько угодно, пусть тогда шумят.

Жюль уехал.

Вернулся ж очень поздно, в девятом часу.

Когда фаэтон въезжал в деревню, у мясной поджидала Мари, а несколько ниже, у почты, — еще две бабы.

Очень встревоженные, все женщины стали просить докторшу подъехать к Ирме сейчас же. Девочка задыхается.

Жюль искоса и исподлобья, — совсем как маленький Жюль, — посмотрел на Мари.

Жирная свинья эта врет. Она, верблюд, всегда врет. Сплетни и любовники, больше ничего ей не надо. Ей, верблюду, кишки выпустить надо.

Мари шла около медленно катившегося фаэтона и обеими руками держалась за крылья подножки.

— Девочке совсем плохо, — говорила она: —

видно, это дифтерит, задыхается.

Жюль поднялся на козлах и изо всей мочи несколько раз хлестнул Маркизу кнутом, по спине, по голове. Лошадь рванулась, как бешеная, фаэтон понесся, и задние колеса его чуть не отдавили ступней не успевшей отстраниться Мари.

— Ага, получила!.. — торжествуя, проворчал Жюль, опять опускаясь на козлы. — Теперь отстала, жирная морда… Тебе, верблюд, не так еще надо…

— Не заворачивайте, Жюль, поезжайте прямо, к вам, — сказала докторша. — Я посмотрю, что с Ирмой.

— Зачем смотреть? Там смотреть нечего… Не театр… Гю. Маркиза, направо.

— Поезжайте прямо, Жюль, к себе поезжайте… Они говорят, Ирма в опасности.

— В опасности?

Сплетня и выдумки. Какая опасность! Опасности не бывает. Горло?.. Ну так что, если горло?.. Дать поласкание, если горло…

Это все Мари! Досадно ей, что повез человек докторшу, что пять франков заработал, вот и подстраивает, чтобы на докторшу же эти деньги и истратить. У, верблюд!

Завязался спор. Докторша хотела видеть Ирму,

Жюль не соглашался.

Мари — верблюд. Если Мари нужно, чтобы Ирму лечили, пусть Мари и платит. А Жюлю до разных выдумок дела нет. Не любит он выдумок. Не верблюд.

— Вы ничего не заплатите, не надо платить… Да остановите же лошадь… Вы ни одного су мне не заплатите.

Жюль мотает головой. Ни одного су?! Известно всем, как доктора лечат, когда без денег. Нет, не надо… Мари будет разное там выдумывать, а ее слушаться? Да черт с ней, и с ее любовниками, вот!

Докторша выпрыгнула из коляски и пешком направилась к дому Жюля. А Жюль фыркнул в усы и заворотил Маркизу направо, к квартире докторши.

— Дураки всегда дураками будут, — рассуждал он, — а меня не проведешь, нечего тут.

Он подъехал к сараю, выпряг Маркизу, и та сейчас же повернула и пошла домой. Жюль поднял оглобли фаэтона кверху, втолкнул его в сарай, запер на засов двери и поспешно последовал за Маркизой.

Хотелось выпить.

Пока докторша в Трампо сидела у больных,

Жюлю подносили, — да все только вино, и уже пора была хлебнуть абсента.

Жюль, торопясь, стал устраивать у корыта Маркизу. Привязал лошадь, насыпал овса. Гарсонэ, соскучившийся по отсутствовавшей товарке, стал приветливо храпеть и махать загаженным хвостом.

— Машет!.. Чего машешь?.. Ты не махай… Размахался… Махало нашелся. Нечего махать…

Жюль прислушался. В доме была возня. Вижжала Эрнестина. Громко разговаривала Мари.

Жюль повесил шлеи на колышек и пошел в дом. Отворил дверь и стал на пороге, — как и тогда, много лет назад, в день рождения своего первенца…

Женщины суетятся: одна кипятит в очаге воду. Докторша у окна, прищурившись, смотрит через пенснэ на стеклянную трубку… «Ну уж конечно, без трубки она не может…» Эрнестина у кровати, и Мари спиной сюда, над кроватью нагнулась. «Вот зад! У-гу-гу! Прямо тебе два гектара, и кончено!»

— Зачем шумят? Туда, сюда… Бегают, и все… Верблюды проклятые!

Жюль притворил дверь — и вышел на улицу. Докторша уйдет, тогда он и посмотрит, что там

такое с Ирмой. А сейчас, если оставаться здесь, то надо будет докторше платить… Заплатить? Пусть Мари платит, если ей надо, а у него лишних денег нет. И любовников тоже нет. Он не желает.

…Соответствующую компанию всегда найдешь. Нужно только самому быть хорошим человеком, и знать, куда пойти.

В кабаке у Виара сидели старый Зозо, могильщик и муж почтарки, дедушка Мерлэн. Этого полуразвалившегося старичка девица Анаиза сумела до такой степени разжечь своими окончательно угасшими прелестями, что он, потеряв всякую застенчивость, к великому удовольствию своему и всей деревни, целые дни и почти целые ночи проводил в кабаке…

Жюль подсел к компании и немедленно, без обиняков, объявил, что как угодно, а его не обманешь.

Даром? Не желает он даром!

Какой дурак отдаст даром то, за что можно получить деньги? Он не нищий! Это всем известно. А если кому неизвестно, так он даст в морду. С какой стати даром? Мари — верблюд, — пусть она и платит.

Он будет ездить в дорогу, гонять Маркизу, а потом платить докторше? А вот этого она не хо-

чет?.. Ага! Почему Ирма заболела? Дифтерит? А откуда у нее дифтерит?.. Никогда у нее дифтерита не было. А накормила Мари детей, и сейчас дифтерит. Теперь пусть завет докторов, — из Нанси, из Парижа, из Персии, пусть платит! Пусть за все платит. И больше ничего! У него в сапоге ума больше, чем у Мари в трех головах. И он ничего не боится. За все пусть Мари платит. И в аптеку, и докторам, и попам. Вот, помрет Ирма, — он знать ничего не хочет! Плати, верблюд, за похороны.

— Ну, это врешь! — запротестовал Жако. — Ты — отец и за могилу я всегда с тебя потребую.

— С меня? Не получишь!

— Получу!

— Не получишь!

Если Ирме могилу, так получать с тебя, — кричал Жако.

— Обязан, — вмешался дедушка Мерлэн, — за своих детей всегда отец обязан.

Жюль хлопнул кулаком о стол.

— А если девчонку Мари отравила?

— Ирме могила, — ты заплатишь, — настаивал Жако. — И маленькому Жюлю если могила, тоже ты заплатишь.

— Не заплачу.

— Нет, заплатишь.

— Вот увидишь!

— Нет, ты увидишь!

Девица Анаиза подошла менять на столе стаканы, и дедушка Мерлэн, весь сияя весенним счастьем, протянул к ней дрожащие руки.

VIII

В этот день Эрнестина пила, была пьяна, и в голове ее стоял тяжелый туман. Когда к ночи Мари и соседки ушли, она села на кровать, где металась Ирма, и тупым, бессмысленным взором уставилась на умирающую. Девочка хрипела, корчилась в резких судоргах и в горле ее и в груди что-то странно хлюпало и перекатывалось.

— Умирает, думала Эрнестина. Она покачивалась взад и вперед и в руках крепко сжимала горлышко бутылки — Умирает… Это Мари отравила… и докторша отравила…

Она пила из бутылки и злобно вытирала рукавом рот.

— Отравили, — проносилось в ее пьяной голове. — Они отравили… А я вылечу… на зло всем вылечу.

Эрнестина взяла с полки длинный кусок черного лакричного корня и стала его совать в рот Ирме. Зубы девочки были тесно сжаты. Это разо-

злило пьяную.

— Не хочешь? Ты, значит, с ними?.. Соси лакрицу!.. Соси, когда мать велит…

Скрюченными, мокрыми пальцами она раздвинула девочке зубы и воткнула ей в рот лакрицу. Ирма забилась, затрепетала… Она подняла кверху, к лицу, руку — должно быть хотела отбросить лакрицу, — но ослабевшая рука не повиновалась и тяжело упала на темные лохмотья.

И уже больше девочка не шевелилась; она лежала беззвучно, тихо вздрагивая, а черный лакричный корень, как сигара, торчал у ней меж зубами…

— Сама вылечу, сама! А докторшу — вон отсюда, и Мари вон!

Эрнестина скрежетала губами, костлявыми пальцами стискивала бутылку и снова лила в себя водку…

IX

Маленький Жюль спал в конюшне. От холода он проснулся и, проснувшись, стал прислушиваться. В доме было тихо. Тетка Мари, значит ушла, — соображал мальчик, — ушли и соседки, теперь можно пойти в дом, никто не будет давать пинков, и не будут орать, что болезнь Ирмы зара-

зительна и надо отослать детей.

Жюль вошел.

Огня в очаге нет. Толстое бревно давно погасло, и на обуглившемся заостренном конце серая пелена пепла… Громко храпит мать. Она лежит на полу, широко раскинув руки, — точно старается захватить как можно больше пространства… Лицом она прильнула к каменным плитам, и кажется, она что-то шепчет им, или их целует… Хромая нога уродливо выворочена, и подле нее, на полу, бутылка…

Жюль стремительно набрасывается на бутылку — пуста!

— Все выпила. Вербблюд!..

Жюль с силой тычет ногой в живот матери. Та не слышит. С безмерной ненавистью смотрит мальчик на мать и на пустую бутылку… По темной зелени стекла, мигая, тянется красное отражение светильни…

Холодно… Сумрачно…

Какие то странные звуки издает Ирма: будто торопясь пьет она и захлебывается… А мертвые ведь не пьют, — думает Жюль. — Мертвые всегда молчат. Значит, еще не умерла Ирма…

Маленький Жюль подходит к очагу и поддувалом хочет оживить огонь. Но поддувало прорвано

и не действует. Жюль становится перед толстым бревном на колени, припадает к его черному концу лицом и, напрягая грудь и щеки дует…

Разлетается по сторонам старый пепел, вспыхивают кое-где искорки, перебегают, разливаются яркой полоской… Жюль продолжает дуть… Красные отсветы ложатся на кончик носа, на раздутые щеки, на собранные в трубку губы… Но уже легкие мальчика устали, что то колет в груди, дуть трудно, а огонь не разгорается.

Со злобным взвизгиванием Жюль ударяет по углям ногой и потом протягивает к ним окоченелые синие пальцы.

Холодно. Сумрачно. Скучно.

Гулко храпит мать, и не переставая, торопливо пьет и захлебывается Ирма.

Глаза у нее синие, а щеки красные…

— Ей тепло, — думает Жюль: — она в постели… И укрыли ее хорошо…

— Вон отсюда! — злобно кричит он, подбегая к кровати.

Ирма торопливо пьет и захлебывается и Жюлю ничего не говорит.

— Лакрицу сосет!.. Все ей: кровать, покрывало, лакрицу… Раньше полубордо сколько дали… Вон!..

Жюль тащит сестру за руку. Та ничего не говорит, и кажется, что она пьет захлебываясь.

— Вон, верблюд!

Жюль отгребает в сторону тряпье и схватывает обнажившуюся ногу Ирмы. И держа сестру за эту ногу и за обе руки, он стаскивает ее на пол.

Худенькое, нетяжелое тело девочки падает легко, почти без шума. Только голова с бледными, всклоченными волосами глухо стукнулась о пол.

Жюль, оскалив зубы, радостно смотрит на сестру.

«Умирает?.. А, умирает?..».

Он весь вздрагивает от странного удовольствия. Снова берет он девочку за ноги, за голые ноги, повыше колен и волочит к двери. Руки девочки протянуты вдоль тела, голова склонена на бок. И подскакивает голова и глухо стучит об пол.

— Умираешь?.. Ага, умираешь?.. Хи-хи…

Жюль приволок девочку к порогу и здесь бросает ее рядом с матерью, которая гулко храпит. Он бежит затем к постели, ложится в нее и тащит на себя всю груду лохмотьев… Только лицо видно из под черного тряпья. Лицо довольное, радостное. Глаза улыбаются…

В постели тепло. Это Ирма нагрела, — думает Жюль. — Жар у девчонки, говорила тетка

Мари, оттого и нагрела. И вытянуться можно, везде тепло… Только отчего она все будто пьет и захлебывается?.. — продолжает размышлять Жюль. — Хрипит… Это она умирает… Ага, теперь ей будет холодно!.. На каменном полу ей очень холодно. Еще и рубашка задралась, ноги голые, — хи-хи! Живот голый, хи-хи!..

И оттого, что Ирма умирает, и оттого, что живот у нее голый, опять возобновляется то, прежнее щекотание. И Жюль начинает сыпать грязными, чудовищно-непристойными словами…

В сердце щекочет, и под языком, и во всем теле… Опять приливает загадочная истома, и сладкое возбуждение зажигается опять…

Умирает Ирма, умирает…

Голый живот, голый…

И сладкое возбуждение разливается сильней, и уже млеют и трепещут плечи, и сами собой закрываются веки…

— Ирма, замолчи! — кричит Жюль. — Не хрипи, Ирма…

… — Тут еще лучше, чем если в очаге огонь раздуть, — говорит потом Жюль. — Тут все тело сразу чувствует тепло… Ирма, замолчи!.. Не хочешь замолчать?!

Жюль вскакивает из кровати… Он стоит перед

лежащей на полу полуголой сестрой и смотрит… Лицо девочки направлено к потолку. Рот открыт. Видны зубы. Синие глаза неподвижны. Волоса рассыпаны по лбу, по камням пола.

И живот! Голый живот. И она умирает.

На белом фоне голого живота сумрачно выступает темный блеск стоящей на полу бутылки.

— Хрипеть будешь?.. Умирать будешь?.. Не хочешь умереть?.. Ага!..

Жюль схватывает бутылку за горлышко, подымает высоко над головой и с силой бьет по лицу Ирмы.

Сладостный трепет искрой проходит по телу его, — оттого, что живот у Ирмы голый, оттого, что красным потоком вдруг обдалось ее лицо…

И выше прежнего он опять поднимает бутылку, и опять бьет девочку по лицу…

Раз… и еще раз… и третий раз…

Красный поток сделался шире, он залил неподвижные глаза, и светлые волосы, и грудь, с лежащей на ней белой рукой. Красные струи побежали вниз, и по швам между плит стали пробираться к гулко храпевшей Эрнестине.

— Хи-хи-хи…

Жюль снова поднимает над собой бутылку, всю окровавленную, и опять бьет по черепу сестру.

— Хи-хи-хи…

В руках остается только горлышко.

Куски стекла рассыпались по лицу Ирмы, по плечам, упали на пол. Донышко бутылки скатилось с груди, несколько раз качнулось с боку на бок, и остановилось острыми осколками кверху. Точно окровавленные зубы волка, сейчас только терзавшего овцу…

И кровь бежит, огибает круглое донышко, и бежит дальше…

Белый живот Ирмы вздрагивает. Но девочка уже не захлебывается. Только вздрагивает.

Жюль лезет обратно в постель и торопливо накрывается.

— Вот тепло! Очень тепло! — шепчет он. — А это что? Лакрица?.. Ишь ты какая лакрица… Ирме и лакрицу дали…

Жюль всовывает в рот лакрицу, все мокрую и теплую от смертоносной слюны Ирмы.

Лакрица сладкая. Жюль с удовольствием жмурится, жадно сосет и чмокает. Он потягивается, сворачивается. Тепло… Приятно…

«Сколько на полу крови… И живот уже не вздрагивает».

Уж Ирма не захлебывается, и уже не вздрагивает живот.

Нет, вздрагивает… Еще вздрагивает… Чуть, чуть…

Жюль напряженными глазами смотрит на голый живот умирающей.

С. Есенин, С. Клычков, В. Наседкин
Стихи

Сергей Есенин
Отрывок из поэмы

Еще закон не затвердел,
Страна шумит как непогода.
Хлестнула дерзко за предел,
Нас отравившая, свобода.

Россия! Сердцу милый край!
Душа сжимается от боли.
Уж сколько лет не слышит поле
Петушье пенье, песий лай.

Уж сколько лет наш тихий быт
Утратил мирные глаголы.
Как оспой ямами копыт
Изрыты пастбища и долы.

Немолчный топот, громкий стон,
Визжат тачанки и телеги...
Уже ль я сплю и вижу сон,
Что с копьями со всех сторон
Нас окружают печенеги?

Не сон! Не сон! Я вижу въявь,
Ничем не усыпленным взглядом,
Как лошадей пускают в плавь,
Отряды скачут за отрядом.

Куда они и где война?
Степная водь не внемлет слову.
Не знаю, светит ли луна
Иль всадник обронил подкову.

Все спуталось. Но понял взор:
Страну родную в край от края,
Огнем и саблями сверкая,
Международный рвет раздор.

.....
.....

Россия! Страшный чудный звон!
В деревьях — березь, в цветь — подснежник.
Откуда закатился он,
Тебя встревоживший мятежник?

Суровый гений, он меня
Влечет не по своей фигуре,

Он не садился на коня
И не летел на встречу буре.

Сплеча голов он не рубил,
Не обращал в побег пехоту.
Одно в убийстве он любил —
Перепелиную охоту.

Для нас условен стал герой.
Мы любим тех, что в черных масках,
А он с сопливой детворой
Зимой катался на салазках.

И не носил он тех волос,
Что льют успех на женщин томных, —
Он с лысиною, как поднос,
Глядел скромней из самых скромных.

Застенчивый, простой и милый,
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какою силой
Сумел потрясть он шар земной.
Но он потряс.....
.....шуми и вей,

Крути свирепей непогода,
Смывай с несчастного народа
Позор острогов и церквей.

Была пора жестоких лет,
Нас пестовали злые лапы.
На поприще крестьянских бед
Цвели имперские сатрапы

Монархия! Зловещий смрад!
Веками шли пиры за пиром,
И продал власть аристократ
Промышленникам и банкирам.

Народ стонал и в эту жуть
Страна ждала кого-нибудь
И он пришел.....
.....
.....он мощным словом
Повел нас всех к истокам новым.

Он нам сказал: чтоб кончить муки,
Берите все в рабочьи руки.

Для вас спасенья больше нет
Как ваша власть и ваш совет.

И мы пошли под визг мятели,
Куда глаза его глядели,

Пошли туда, где видел он
Освобожденье всех племен.
.....
.....
И вот он умер. Плач досаден.
Не славят Музы голос бед
Из медно-лающих громадин
Салют последний даден, даден,
Того, кто спас нас, больше нет.

Сергей Клычков
Сороки

В жизни всему свои сроки,
Всякому лиху — пора:
Две белоперых сороки
Сядут на тын у двора.

Все по порядку гадалки
Вспомнят, что сам позабыл, —
Что погубить было жалко
И, не губя, погубил...

Словно бродяги без крова,
В окна заглянут года — ...
Счастье — как пряник медовый,
С солью краюха — беда...

Лень-ли за дверь оглянуться,
Палкой воровок вспугнуть —
Жалко теперь обмануться,
Трудно теперь обмануть?!

Вечер пройдет и обронит

Щит золотой у ворот —
Кто ж тебя за руку тронет,
Кто же тебя позовет?..

Те же, как веточки, руки
Те же росинки у глаз, —
Только теперь и разлуки
Не посулят ни на час...

Юность — пролет голубиный...
Сердце — пугливый сурок... —
То лишь краснеет рябина
В стрекоте вещих сорок!..

В. Наседкин
Как изразцов персидских — синь…

Как изразцов персидских — синь
Заброшена в шатер бездонно.
И я стою завороженный
Его величием простым.

Струят прохладу лишь сады,
Да неумолчные арыки;
А возле радостный, безликий
Смеется тихо у воды…

За садом выжженная степь
Дрожит от выпитого зноя.
И это все мое, родное:
И сад и коршун в высоте.

Ольга Форш
Для базы

РАССКАЗ

I

— Дьякон то наш, из Дубовой Луки, дьякон Мардарий живцом стал!

Как-же: и Марфа Степановна, и управдом Сютников, и Петька Козырь все выследили, все удостоверились, — переодевается.

Едва на столбах афиши: «совместное выступление»... звезды первой величины — один протоирей — другой протоирей, а приглашенные шрифтом помельче, — дьякон сейчас — пиджачишко, полу-галифе, самоделку с ушами и по черному... И в указанной зале собранья со всеми вотрется.

Однако Марфа Степановна способ нашла, как особу духовного звания и в перелицовке признать. Гриб подосиновик, хотя в какой гущине, а изо всех краснеет, так и церковники из живцов. Кто к длиннополой одеже привык, как обкарнается, сейчас наровит колени ладошками

прикрывать; то ли ему поддувает с непривычки, то ли конфузно ему, — не иначе раздетый.

Вот по этой ручной замашке и ловили прихожанки переодетых церковников: без обману. А поймают — раскалятся. Они и сзади подберутся гвоздить и вдогонку ему шепотком: живец, балтист, подосиновик…

Раз Петька Козырь с другим зефирщиком с Васильевского острова до самого до дому затеял дьякона потравить, да на пути другой секрет его и открыл.

Дьякон-то, ведь, не домой, а в «Кафе-Козерог» как стрельнет! А назад и нет дьякона.

— Эге, выследим, — сказал Петька другому зефирщику, пока, что папиросками торганем.

— Сафо толстая, зефир трехсотай, гражданс-ки-я!

Часа два надсаживались, чуть дьякона не зевнули.

Да полно, дьякон ли это Мардарий? Глаза углем обведены, на щеках красные пятна, как у клоуна в цирке, в воротник бороденкой ушел, нахлобучился поскрытней, и по заячьи…

Визганул Петька Козырь и с зефирщиком к Марфе Степановне: — готовьте, буржуйка, сахару — сообщение первой важности! Дьякон Мар-

дарий в «Кафе Козерог» нумера распапашился выполнять.

— Эх, яблочко да мелкарублено,

Не целуй, клещ, под нос, я напудрена.

— Врешь, Петька, это уж обязательно врешь, и в радости Марфа Степановна к дверям у дьяконицы распытать.

— А ты, Петька, иди, иди! пока не украл!

— Скажи курице, она сейчас улице, — огрызнулся Петька, а сахар то где?.. И за дверью оба: буржуйка саботажная!

А когда в темноте, нахлобучившись, бороденка в воротник, дьякон как тать пробирался к себе, на все этажи свиснул Петька с зефирщиком:

— Дьякон живец — твой антихрист отец!

Выпуская гостя, управдома Сютникова, вышла Марфа Степановна за порог своей двери, плюнула перед дьяконом, растерла калошей, хлопнула с сердцем задвижкой, насадила крючок и дважды с музыкой щелкнула ключ — будто от громилы, оборонялась от дьякона.

А гость ее, управдом, он же богоспец Сютников, отступая на шаг и пряча за спиной руки, сказал:

— Дьякон, дьякон, как дошел ты до жизни такой?

Дома дьяконица, с обвязанной щекой, бессонная, над больной пеленашкой, жадно схватила протянутую дьяконом, распухшую от обращения, красную столимонку, положила ее на стол и притиснула сверху холодный утюг. И молчала дьяконица. Молчал и дьякон.

II

Дьякон Мардарий в Дубовой Луке и родился, и на лето из семинарии приезжал, и женился, и с дьяконицей своей двух детей народил. Одно в военное время, другое под временным — оба вскормлены как у людей: на материнском молоке, да на коровьем. И лишь только третье — окончательно революционного времени — подымалось на «сгущенном» и на белой крупе из посылки «Ара».

Не любят получающие арийцы стекловидную эту крупу, ею рынки завалены, она ходит дешевле пшена.

Родилась эта третья дьяконова пеленашка в столице. И совсем бы ей при такой бедности не рождаться! Что поделаешь: от абортной ориентации скромная дьяконица в стороне, а многоплодье в духовном кругу, как было, так и есть — статья неподдекретная.

Но зачем было дьякону из Дубовой то Луки да в столицу?

Жил он на селе, немудрящий, мужиками любимый. И дед и отец Мардария, в той же Дубовой Луке были священниками.

Чудной народ мужики: деда Мардариева, хмельного попа и ленивого, так любили, что пред благочинным за него распинались, когда бывало по пьяному делу между ектеньями не такое словечко ввернет, а доносчик растебенькает. Запрутся на опросе, покроют: — окромя божественных, не было слов…

А вот на отца Мардарьева, на академика, на постника, как снег — челобитныя: не продохнуть от попа, убери, владыко!

Развел благочинный руками: старому пьянице потакали, а тут ака-де-мик…

— Старый поп деревенцами не гнушался: службу скоро правил, грехов не тянул. Этот же после обеденки еще «слово» норовит, а что не пьет, — кишка у него тонка, нам это даже совсем не угодно.

Мардарий весь в деда: и хохотун, и простец, и с ранних лет, на свадьбе ли, на хресьбинах — любит стаканчик глушить. Приятель и кум, Захар винокур, бывало сахару в водку сыпнет,

перстом размешает, в чайной чашечке поднесет: пей сладимую, слаще жить!

С Захаром и с другими парнями хаживали в Ордынок — монастырь. Пели поминаньица: родителей за копеечку, родню за денежку. Заводил тонко Мардарий:

Папеньку родного,
Маменьку родную,
Папеньку хрёсного
Маменьку хрёсную…

Весь день собирали, ввечеру пропивали. Нравилось вечером в реке раков ловить на лучину, река от заката — плавленное золото, задолго придешь, любуешься. Монастырь нравился тихий, рабочий, с диковинно-росписанными образами.

Во всю стену хватил художник от Матфея главу седьмую: «и что ты смотришь на сучок в глазе брата своего…» И бревно из глаза осудителя — агромадное, четверо надуваются, еле держат. А другой образ-радостный: «и взыграша младенец». Чрево у Елизаветы взято в разрез, и нагой младенец в нем на скрипке играет.

И вот эти два образа — вся наука Мардарию. Умом не хитер, сердцем берет. А для сердца тут все: от Христа ему радостно, как младенцу во

чреве. А урок его главный-то: к брату, к ближнему — свое бревно помни, другого не ешь. И оттого, что Мардарию вся мудрость тут, на Ордынской стене, по книжкам в семинарии шел плоховато, уж куды в академию!

Отец умер, и Мардарий в той же церкви стал дьяконом. Женился, обзавелся хозяйством; и век бы ему, как отцу, и как деду — тут вековать. Хотя бы и революция? Что же особенного? — Перемена правительства — другое поминовение, а служба та же, и тот же храм. А хоть волнения кругом не избыть, тому, кто смирно сидит, об одном иждивении рук своих промышляет, тот и сыт, тому и хлопот больших нет. К тому же Мардарий — всего дьякон, и за все про все в ответе не он, а священник.

И вот опять: зачем дьякону в такое-то внезапное время из насиженной Дубовой Луки, да в столицу?

* * *

Еще было начало революции. Еще кричали по России приказы: — Я, Керенский, я…

Еще могли быть и такие и эдакие мнения, а по железным дорогам шла демобилизация.

Первоначально, дьякон Мардарий втиснулся в

туго набитый вагон, без всякого особенного мудрования, по одной лишь фамильной надобности: поехал в уездный город к собственной теще на предмет обмены сырья на мануфактуру.

И ничего с ним в вагоне и не было кроме обычного в такое время разнообразия разговоров, а вот подите ж: поехал один человек, воротился другой.

III

В вагоне, на нижнем диване, друг против дружки — собеседники. Один говорит, другой слушает; от него дьякону видно на лоб свисший чуб, усы, бородка. А рассказчик, участник московского собора, с побывки едет опять на собор — он виден весь. Небольшого роста, судя по широким плечам, недавно еще плотный, сейчас страшно измученный, почти больной человек. Речь его для дьякона необыкновенна. Не столько словами, а как то всем существом, движеньем коротких пальцев, напряженным, вдаль глядящим взглядом — вызывает он, показывает то, о чем говорит.

— Владыко воронежский, владыко тамбовский… и замрет. Ну, что-ж, зазорного в этом владыке нет ничего, росту крупного, крест над кафедрой золотится, голос-бас. И хозяин… по

докладу видать. Главное дело — хозяин.

— Ну, владыко такой то…

Помолчит. Словно ищет в новом имени то драгоценное, чего хочет душа, чего не назвать ему словом.

Дрогнули губы, короткими пальцами скорбно развел: на нет, дескать, и суда нет. И другой напротив подперся, чуб свесил, сокрушен как от тяжкого горя:

— Что ж, и в этом зазорного ничего. — Ростом пониже, не ходит — бегает, и к «молочникам» лют.

Дьякон смешливый как прыснет:

— Молочники! Это те, что в пятницу чай с молоком?

На минуту обернулись оба на дьякона.

— Извиняюсь, — сказал по новому Мардарий, — я из Дубовой Луки, мы там в темноте, на счет хода событий…

— Какие события, пока одна ябеда: «крючки» в буфете шмыгают. Особам наушничают, а особы нас профессоров, этак с занозой: «достопочтенные»…

Долго, истово, с страшной внутренней напряженностью, и оттого как бы внешней бедностью, необыкновенно ведется рассказ. И верит дьякон

расказчику; не только видит, как видел тот, но вместе с ним и сам скорбит о чем то таком заветном… а о чем? И не назвать. Дивится Мардарий: вольный человек, а поди ж ты как за наше за церковное, болеет душой. Осмелел, говорит:

— И как это вы все упомнили и про главное и про околичности?

— Эта душа уж сама затаила, чтобы, знаете, честной памятью проверять на досуге. Задача то ведь какая? Ради нее и жить и помереть: Христову правду выявить.

— А на деле-то, а на деле… прервал тот чубатый.

— А на деле пока так: в этом всероссийском соборе, за немногими исключениями, определял средний уровень, не огонь, не дела веры, а вот этот скорбно-комический минимум: зазорного нет ничего! И у многих, знаете ли в руке благословляющей «особу» — непроизвольный изгибчик и грация этакая, дореволюционного времени.

— А они всем вершат. Создают форму и норму… мертвый собор!

— Так история и запишет: первый московский всероссийский… мертвый собор.

И опять как сокрушенный тяжким горем под-

перся чубатый, ниже свесил чуб: — столь угашен у нас дух, иных вдохновений видно не стоим. Религиозная форма и норма.

Вышли соборники на пересадке, и такое у Мардария за них беспокойство: сядут ли дальше куда им надо, или приткнувшись на корзины, пропуская все поезда, снова пойдут себе перебирать за владыкой владыку.

Чувствительно дьякону: не специально духовные люди, а как про духовные говорят?

— Христову правду, вишь, выявить, за это им и жить и помереть!

И не слыхивал в своем-то кругу.

Обмозговать дьякону охота, а где тут обмозгуешь? Опять новые люди, опять смотри — слушай.

На месте соборников внизу примостился только что выбранный товарищами себе в начальники солдат. Зовут его все — господин офицер.

Офицер держит крепкой ладонью серебряный подстаканник с надписью: «от роты уважаемому товарищу». В подстаканнике тонкий стакан баккара и ложечка. Офицер командует в чащу серых шинелей: — Кротков, на следующей станции возьмите нам в окно две бутылки «ситры». Безразлична ее стоимость. — Кротков, себе вы возьмите

одну четвертую часть, а прочим мы угощаем. Какая часть двух бутылок, одна четвертая?

— А хто ж ее знает, — как шмель сонный бас.

— Вы, Кротков, должны знать, когда вы сознательный. Я вам толковал.

На остановке чья то рука, должна быть Кроткова, молча подает из тьмы две бутылки. Рыжий солдат при передаче легко подбрыкивает одну на ладони: — почитай целую облегчил, Кротков-то, сознательный.

— Кротков, идите сюда, чай будем пить! Кротков медведем пробирается к чайнику. Щеки у него два арбуза, усов еще нет и ему все равно.

— Кротков, сюда, с нами рядом.

Офицер сжимается на своей корзине и далеко вперед выносит руку с стаканом баккара.

Офицер волнуется. Он знает, что за ним все следят. Дело его тонкое: и себя не уронить и новое революционное сознание между офицером и нижним чином выявить: *равноправие.*

— Кротков, вы мне лейте воду, а я вам обратно лью чай.

Одновременно наливают друг другу. — Кротков, через час времени, вам пересадка. Дальше едете вы отдельно, на северо-на-восток. Захлестнитесь потуже: вспомните, я вас научил, что на

северо-на-востоке?

— Известно что — Вятка. Домой в Вятку еду.

— Вятка есть ваша родина, а я вам доказывал по учебнику, что на северо-на-востоке обязательно холодней. Опасайтесь простуды.

Офицер и Кротков допивают чайник. Офицер бережно обворачивает тонкой тряпкой стакан баккара и прячет в корзину, доставая взамен старую карту России. Водит пальцем по карте.

Все склоняются, двое светят огарком, любопытствует дьякон вытянуть шею, а Кроткову — все равно, и не склонился толстым лицом, так стоит.

— Вы скажете дома, Кротков, вы скажете… голос у офицера крепнет, а сам он гордый как на коне. — Вы скажете: я ехал через пять республик — украинскую, польскую, белорусскую, литовскую и собственно говоря — нашу именно: великороссийскую…

На большой станции, где помирившись после крутого боя, враждебные стороны выпили все самовары, и пассажиры, не раздобыв кипятку, страшно ругали и своих и чужих, — офицер целовался с Кротковым и, выгружая его, в догонку кричал:

— Захлестнитесь потуже, на северо-на-востоке обязательно холодней. И республики упомните…

Не дошел в ответ бас Кроткова, и уж верно подернул плечом: — и кто ж их упомнит…

А внизу еще новые: моряк «Центрофлот» и почтенный георгиевский кавалер.

Щека у кавалера подвязана, на рукаве три нашивки, три, значит, раны. — Щека эта — еще в 14 году, вверху горы пуля въелась. Зажал рану, сел, извиняйте, на себе собственно, вниз и съехал. Другой рукой, штыком правил, что рулем. Сам вольно пошел. А в прежние войны еще два раза ранили, и все за нее, за Россею. А ноньче-то, ноньче, выходит задаром.

И ничего другого кавалер не говорит. Подопрет крепче щеку, ломит кость к погоде, вздохнет «э-эх, все задаром!» А наискось матрос: круглое лицо, темное. Как повернет голову, сверкнет белками и золотом букв.

Спорит матрос с голосом верхней полки. Из за чьих то вещей, явственно — голос, как ребятам диктует.

У голоса выучка, и он с цифрами: — обманщики они или обмануты сами; Не встанут в Европе, вы только допустите… не допускает матрос: — Все — как надо, весь мир Россия спасет, весь, зажжет! Читали: в Кельне… И допустить не хочу.

Весь день матрос не допускает. На утро поблед-

нел, осунулся. И ночь ведь всю спорили. Голос из-за вещей прочел вслух газету: ну, сущие пустяки в Кельне-то!

И с новыми цифрами на матроса…

И к полудню отвечает матрос, глядя в окно на снега, уходящие к самому лесу, чтобы упасть на него белым мехом; и говорит матрос будто не людям, а снежному пустырю, а этим верстам мелькающим:

— Ну, хотя б и обман! За такой и за обман помереть не жалко. Бывало, баранами мерли…

А внизу кавалер тугоухий:

— Это ты верно, матрос! Мы за свое мерли в свое время, вам теперь за ваше. Ежели человек в полном чине, за что ни на есть, а сложить ему голову надо. Не то воши, воши живого съедят!

IV

Вернулся дьякон и провизию привез и все как полагается. И вот затосковал. Церковники те, офицер, солдат да матрос — из ума не идут. Всех будто и раньше видал, а вот поди ж ты, — новые они дьякону люди.

Чем новые? А тем, что всем им до чего то есть дело такое, хоть бы за это и помереть. А ему, вот, Мардарию, ни до чего до такого нет дела. Его

значит — воши съедят.

Не умеет дьякон, не привык думать, зато с юности полно сердце волнений: От спелой нивы, от облачных в небе барашков, от белой змеистой дороги, по которой ходили, бывало, в Ордынок, от молитвы иной, от своего служения дьяконского, — как препоясется орарем под нехитрое пенье всем миром молитвы господней…

И теперь чаще мнится Мардарию: не пустой он обряд совершает, а благодатно препоясался в путь, как посланец высшей воли, возвестить ее людям.

А какой воли и что именно возвестить — и не знает дьякон. Но крепко вошло в него новое: найти надо, за что сложить можно б душу, чем сан оправдать. Но и страх с этим новым: прилично ли ему, духовному лицу иметь хотя бы мечтательное участие в общей революции?

Прилично-ли даже желать в своем ведомстве перемен?

Летели, дни, и наступили времена, когда сроки обыкновенных счислений уже так сгустились, что иной день человек проживал годы, а годы шли за столетие той медленной неухабистой жизни, что прозывалась «культурной».

Как рыбе из моря на суше один конец: либо на-

учиться дышать по иному, либо пропасть, — так и человеку в эти годы: либо гони себя в рост на курьерских, либо оседай, иди плесенью…

И вот окончились гражданские войны, не стало фронтов, пошло устроенье домашнее.

Встрепенулся дьякон при «изъятии ценностей» и при слухах о новом церковном движении. — А, может, оно — вот то самое, что он ждет, не умея назвать! Оправдание сана его в чине ангельском?

Денно и нощно — в мечтах Мардарий: как бы ему да в столицу попасть? И вдруг перст судьбы: письмо оттуда от шурина. Овдовел, бездетен, дьяконицу-сестру зовет с мужем и ребятами: вместе легче продержимся.

Дьяконица брата любила, и покорная, своей воли нет — Мардарий ей закон. А Мардарий одно: перст это, перст!

И попали из своей Дубовой Луки да в столицу. Дьякон в тихом приходе устроился, не в центре, конечно, но и не совсем на окраине. Да беда: новый перст судьбы, на этот раз не обольщающий, а как бы «первое предупреждение» дальнейших бед. Шурин тиф прихватил, поболел и помер. Осталась квартирка, а половины доходов ищи. Спекуляцией шурин накручивал — валютчиком.

А тут дьяконица родила. Самой кормить нету силы, а коровьему молоку здесь возможно поверить, когда сам корову подоишь. В таком роде и было: первые месяцы дьякон дважды в неделю к чухонке за город ездил, бетоны возил, за них чухонка в обмен то лампу, то зеркало.

Проглотила к полугодию дьяконова пеленашка почитай всю обстановку, и отдав за бетоны ломберный с зеленым верхом, дьякон решил перевести дитя на сгущенное.

А за сгущенное — денежки! Да болеть пошли и дьяконица и ребята. Сразу — все без подметок, и дрова… топились, топились — ан нет больше дров!

Приход дьякона бедный, из «мертвой церкви», а тут — «совместное выступление» и мода на «живцов». Еще бы не мода? Один среди церкви служит, другой с органом, третий с женщиной вместо дьякона. Тот стихи Блока между ектеньями с телодвижением говорит. А еще на отлете и такая община завелась, что не то студента, не то курсисточку-медичку всем миром поставили, да без образов, с одними лишь портретами русских классиков, всенощное бдение правят. А из углов у них висят желтым языком вниз огромные как колокола, белые лилии из бумаги папиросной.

Взорвалась твердость прихода, вот-вот все рассыплется.

Дома Мардарию дьяконица душу мотает. К ней соседка Марфа Степановна с вычислением приходила: — все проценты в сгущенном молоке совсем не молочные, а из чего-то бог знает из чего. Без чухонки дитя пропадет. А чухонке дать что ж? Старшенькие — первая ступень — окончательно без башмаков. Дьяконица себе к летним туфлям пришила рукава старой шубы, не ноги у нее — трубы самоварные, ночью только и выйти.

Ну что, спрашивается, дьякону Мардарию делать? К пану Ступаковичу поступить?

Пан Ступакович давно, как бес, вокруг дьякона ходит, к себе, в «кафе-Козерог» нумера петь зовет. Губа не дура у пана Ступаковича, и расчет его без просчета. Дьякона и дьячки отощали, голоса у многих не хуже, чем у вольных артистов, а по духовному положению своему возьмутся за дело сходнее. Особливо из «мертвых», так как мода сейчас на «живцов».

Вот и пошел с дозором пан Ступакович по церквам, отмечает в блокноте хорошие голоса. Знакомится деликатно, и предложение выступать в «номерах» с частушкой, с характерной песней «лапотник», словом, по сезону — с чем

придется.

— Гонорар разовый, без заминки, одно условие не опаздывать. Дело живое проточное: посетитель, особливо подвыпивши, обожает быстроту и коловращение.

Голос у дьякона Мардария, записал в блокнот Ступакович, — tenor di grazia, а как при знакомстве узнал, что в селе своей песней славился — ну как клещ.

Пан Ступакович не отстает, дьяконица с бетонами пристает — как удержаться Мардарию?

— При моем сане зазорно, ряса на мне!

— Вы не в рясе будете петь, — говорит Ступакович. — Вы рясу в общей уборной на гвоздь повесите, а с чего ряса на гвоздю спаскудится? — никак. Вы петь будете в самом наиладнейшем лапотном уборе, и заметьте себе: плисовые шаровары — досконально прежняя роскошь.

Дьякону отец вспоминается: строгий, с академическим значком. А Ступакович свое: гонорар наивысший, разовый, без заминки, один уговор — не опаздывать. Дело живое — проточное.

— Как неужто и в субботу? Сейчас после всенощной, и грим положить не успеешь.

— Грим? Пустое дело, — сказал Ступакович, — зеркальце выньте, да хоть себе в алтаре цветным

карандашиком тут — там. Шапку нахлобучил, бородой в воротник, и — хотите на пару пива? Никому не узнать.

Дьякон Мардарий руками замахал:

— Такой грех в моем сане!

А пан Ступакович:

— Почему вам грех, когда у меня полный духовный ансамбль! И не какие нибудь безработные, а сплошь живая и мертвая церковь. Теперь никто ветер к себе в голову не впускает — совместительствуют. А вы хотите состроить исключение?

— Сан духовный…

— Я же сана, боже храни, не отгнетаю. Сан вам остается для *базы*. А «кафе-Козерог» — отхожий промысел. Ну: не коротко и не ясно?

— Сан — для базы! Духовный мой сан?!.

Не спал эту ночь Мардарий и как дятел, одно: ехал сюда, чтобы свой сан оправдать. А сан-то… сан — для базы.

V

Дьякон Мардарий в столице больше слыхал о том новом, что творилось в церковных кругах, но, как и в Дубовой Луке, это все были злые сплетни, а сам он еще приблизиться к делу не мог.

Приход его был из «мертвых», и батюшка в

проповедях норовил завернуть про последние дни и печать Антихриста. Конечно, все это с указанием на далекое прошлое Византии и гонение императора — арианина.

Но преотлично все знали, где сия Византия и кто будет сей арианин. А управдом Сютников, между всем прочим, и богоспец, он проведал всю платформу живцов: и кому будут давать красные митры, и кто замечен в «сокрытии ценностей», и сколь много вдовых попов с разрешения «ВЦУ» поженились.

Он же приносил живцовский «журнал для всех» с подсчетом на полях, сколько раз упомянуто слово «экс-пло-а-та-ция», и прочие советские митинговые слова, вместо прежних слов божественных. А последний листок, богоспец Сютников вырезал и наклеил на твердый картон.

Это было объявление о дешевой продаже плащаниц, подсвечников и хоругвий с плагиатным от гостиного двора выкриком, вроде рекламы крест на крест: «все для церквей»!

Сютников, злорадно хихикая, берег этот листок для каких то иных времен.

А дьякону Мардарию одно любопытство: — самому поглядеть, удостовериться, точно ли живцы — антихристы? Прочтя как то раз о «совместном»

выступлении, все дела неотложные бросил, в партикулярный свой костюмчик оделся, волосы шарфиком обвязал. — Хоть и модны «стрижи», а не всякому просто, поднять руки на волосы. Молитва над ними.

Тайком ускользнул на заседание Мардарий — и в самую точку попал. Главный один доказывал, как именно вышел в церкви раскол.

Мардарий не отрывался от главного.

На эстраду перед несметным народом тот выбежал и стал говорить. Разве словами? Нет. Будто чирк — подожжет, и взовьется ракета и вокруг огнями цветно… А он им упасть не дает, еще и еще…

Сразу Мардарий не понял смысла слов, боялся понять. Все, о чем он сам при царе еще, не то что робко подумывал — куды не сумел бы! — А скорей все то, от чего больно бывало, и стыдно бывало, — вот про все это проповедник, как по самой умной книжке.

А войну то, войну как разделал! Пушки, чугунные неодушевленные орудия, говорит, святой водой окропляли, чтоб им без промаха бить людей.

И про все это таким ураганом, взметает вверх, в стороны руки, сверкают глаза, весь бледный,

яростный…

— Божья гроза, — шепчет Мардарий, — божья гроза.

Как девушка, скромный дьякон вовлекся в вихрь проповедника и весь замер в одном: за что скажет, за то и помру.

А говорит проповедник слова: социализм, революция… примем гонение и смерть за новое религиозное сознание.

Мардарию вспоминается, как тогда в вагоне он взволновался от всего, что видел, и как потушил в себе новый интерес, не зная, смеет ли он, духовное лицо, сопричтись революции. Теперь он видит, что смеет и как это надо.

— Кто принадлежит к прогрессивному духовенству, кто знает что церкви нужен сдвиг? Идите к нам!

Трепещет и стыдится Мардарий: неужто он сам и есть прогрессивное духовенство, — ведь двух слов связать не умеет.

И хоть слышит сзади, не понимает насмешливых возгласов:

— При царе бы войну и корили!

— Задним числом дешевле стоит!..

А тот на эстраде рассказывал, как они, несколько человек, сделали церковный переворот, и

теперь все в церкви по новому. — В одной любви христовой и строительстве праведном…

Как только этот проповедник окончил, Мардарий других и слушать не стал, побежал домой.

Скрипит чуть подмерзший снежок, белая улица, и вдруг радость от нее, как от той белой дороги, когда с парнями ходил в Ордынок. Молодость воротилась и вознесла. Вот пусть бы сейчас все те разговоры, в вагоне. Сейчас сказал бы тем, профессорам соборным, и кавалеру и флотскому: я вам родня. Я, дьякон Мардарий из Дубовой Луки, тоже знаю, за что собственно мне помереть. Да, за новую, за живую церковь!

Тихо пробрался в свой корридор дьякон Мардарий, тихо отперся ключем. Не раздеваясь, взял со стола ножницы, и сияя детскими веселыми глазами, отрезал целиком свою забранную в кулак косицу.

Дьяконица проснулась. Замученная, безброво и тупо смотрела на мужа. Потом она глянула вниз на половицу. На половице, свернувшись кольцом, как змея, чернела густая дьяконова волна.

— Остриг!..

И как по каменным, по ее серым щекам съехали вниз две слезы.

VI

Решающие наступили для Мардария дни. Не в словах увязать — оживлять жизнь делами, «новым религиозным сознанием», вместе с ним, с проповедником. Из за этого самого из Дубовой Луки сюда ехал, из за этого с дьяконицей своей голодает.

Что же ему, как начать? Попроситься в прогрессивное духовенство? А какой он работник! Косноязычен и не мудрящ.

Вот если б для примера за что помереть надо бы — это он может. Детей люди добрые не оставят…

А духовенству, как и всем, надо правду свою выявлять: из за чего собственно оно есть духовенство — то есть именно особое ведомство?

И мечтается дьякону; в обиде тот проповедник, что ему душу пронзил, готовится к ссылке, и на все его дело — гонение. А он дьякон Мардарий в ноги ему: пострадать хочу с вами за все собственно, о чем вы давеча с кафедры!

Революция в России: кто умер, а кто узнал, за что ему умереть стоило бы. Ну, а кто и сейчас не узнал — того вши, вши съедят… Узнал дьякон Мардарий: ему — за живую церковь.

На другой день ввечеру, пошел Мардарий к

управдому Сютникову деликатно выспросить, как и что ему сделать, чтобы вдруг запринадлежать к прогрессивному духовенству, да обиняком допытать, как это в «живцы» вписываются.

А управдом, он же богоспец, Сютников его вдруг, как медведя охотник — по черепу — наповал:

— Живцы твои, дьякон, живцы каковы! И нумерочком газеты пред глазами мерекает. — Гляди ка в столбец.

Глазам дьякон не верит: — отбирать у духовных лиц подписку о признании ВЦУ.

— А тех братец, что заартачатся, вон из прихода, за пределы епархий. По старинке, им нравится. Щука съедена, а зубы то, видно, остались. Хе, хе…. за пре-де-лы!

Пришел дьякон домой, не спросил ничего, что хотел.

Дома узнал: всполошенный дьячок прибегал, завтра утром церковный совет у батюшки на дому.

— Уж ты не прекословь живцам то, — ноет дьяконица, — с ними не шутка! Отца Павла прихода лишают, а благочинный от Троицы сам «покраснел», с амвона грозил, коли кто не подпишется.

Кричит пеленашка, у нее режутся зубы, и ро-

жок с сгущенным молоком она злобно толкает крепкими кулачками. Наливается красная, выпинаясь замотанным телом, как рассерженный рак.

Марфа Степановна просунула в дверь ядовитую свою голову в холодной завивке и прошипела: успокойте ребенка.

— Снесу ее к доктору, — прошелестила дьяконица белыми губами, встала, пошатываясь от бессонных ночей. Двух старшеньких только что свезла в скарлатине в больницу.

Сидит один дьякон топит времянку. Дымит она. Дым глаза ест. От него, что ли, плачут глаза. Темен умом дьякон, а сердце простору просит. Ну ради чего революция? И собственно для духовного ведомства?

Прочие ведомства все узнали ради чего стоит жить и помереть. Ну, а духовное? Ужели ради власти? И к кому пойти Мардарию, когда он и слова не знает, и про свою православную веру как в семинарии учил, чисто все позабыл. Одно помнит: образа на стене монастырской — «взыграша младенец во чреве» и бревно в глазу осудителя. Да, вот еще недавно узнал: пока жив, найти каждому надо, за что именно ему помереть. Найдешь — в полный чин вступишь, оправдан и сам.

А пан Ступакович-то? Сан — для базы. Да неужто и весь тут ответ?

А Ступакович легок на помине, стучится. Его стук дробинками бьет, а голос с игрой:

— Ваше Преждеосвященство дома?

Молча дьякон впустил.

— Ой, и дымно у вас, — говорит пан Ступакович, — совершенные облака. — А топить настоящую печь нету дров, что? Ведь дровец то в обрез?

— Мешками берем.

— Срам, дрова брать мешками, ведь это не 18 год, это ведь слава богу, нэп. А при нэпе одни бездельники не устраиваются. Ну, хотите завтра же березовых? В счет гонорара. Прямо с вокзала два воза: один мне, другой вам. И чухоночку пришлю — честнейшая; если что подливает, так одну только невскую воду. Затушите ваш огонь и пойдемте. Ну?

— Обмозговать надо…

— Ну, за парой пива обмозгуете. Ставлю. За сегодняшнее разовое выступление — неподдельную красную «столимонку». А дрова это в счет, подмахните контракт на сезон, и топите себе на здоровье! Гарантирую: дрова — как бездымный порох, без дыму, сразу жарища. Грим вам

для первого раза я сам наведу, а уж вы завтра карандашики в футлярчик, футлярчик в тайный карманчик. Зеркальце вынул, тут штрихнул, там штрихнул — красавец мужчина!

Дьякон ходил по комнате, трещал молча пальцами.

Постучали в дверь. Дьяконица.

— Ну? — Спросил дьякон.

Дьяконица с трудом подняла бессонные глаза и сказала, кладя на постель пеленашку:

— Скарлатина. В тепле держать надо.

— Тепло первое дело — подхватил Ступакович, — первое дело: тепло и легкий питательный стол.

— А тех, в больнице, на свое молоко перевели.

Голос у дьяконицы шел издалека, будто не она говорила, а в нее как в трубу шел откуда то звук.

— Ну, пойдем, — сказал Мардарий пану Ступаковичу.

VII

Дьякон Мардарий, с подведенными углем глазами, отчего они словно кому то фривольно подмигивали, с пятном румян на щеках, сидел в комнатушке за открытой сценой, за столиком, против пана Ступаковича. И как давно ему не

случалось, он глушил одну за одной, настоящую прежнюю водку.

Он одет был для выхода в лапти и в онучи, перевитые черной тесьмой, и в рубаху с красными ластовицами, чтобы петь «нумера».

Пан Ступакович щедро подбадривал из бутылочки. Выпил и сам. И вдруг стал невеселый.

— Моя паненка Ванда Мусила вон из города в Павловск, а из за чего? Из за подлой книжонки. Слыхали, психоанализ Фрейда?

— Нет, — сказал дьякон, — я ученых книг читать не могу.

— Зачем она ученая? Никак! Эта книга паскудней шпика-подлюки. Эта такая книга… она вас укусывает как собака, когда вы совершенно не ждете. Подумайте: жена меня так себе, с лаской спрашивает: «ну что вы, мой кохане, какие мечтания в снах имеете? Имеете вы мечтания об озере, будто в лодке плывете, а кругом цветы?» — Ну, скажите, может ударить вам в голову, что это же вовсе не озеро, а мышеловка, куда мышку хлоп — и пожалуйте! — Ну, и мне не пришло: — какже говорю, моя кохана, бывает и озеро мне мечтается в сонной мечте, но чаще, откроюсь я вам, по прежней моей канцелярской работе, что убираю в шуфлятке, или в ящиках роюсь… Вдруг жену,

прошу пана, как скарпий ужалил. Позеленела и с кулаками кричит: — «ваши сонные мечтания обличают на яву самые с вашей стороны последние похабности. И с кем вы их поважаете делать, я помру, а дознаюсь!» И вон тогда из дома! А дом то ее… И ведь это она не с своей головы, а с напечатанной книги: психоанализ Фрейда. И такой это советский толкователь снов, чтоб ему…

Прозвонил колокольчик. В маленькую дверь глянул такой же как дьякон «лапотник», и сказал: — наш выход!

Пан Ступакович с лаской взял дьякона под руку, прошептал: — вы не считайте за урон гонору, что сегодня не высший духовный ансамбль. К той неделе подравняю вам сплошь дьяконов. Хотите «живых», хотите «мертвых»?

На спевке Мардарий узнал своих партнеров — трех многосемейных дьяков из недальних приходов и дьячки узнали Мардария. Но все поздоровались как незнакомые, когда пан Ступакович представил их друг другу под чужими фамилиями.

— Первым номером сезонное — «Яблочко». Публика обожает. Ну, адье, — жирофле! И подвыпивший пан Ступакович сделал ручкой.

Через минуту все четверо лапотников стояли

на открытой сцене, и дьякон Мардарий — запевало, выворачивая пятки, ерепенясь, с уханьем выводил:

— Эх, яблочко, да покатилося,

Генуэц-конференц да провалилася!

Вяч. Шишков
Черный час

РАССКАЗ

— О-го-гой! — закричал тунгус Пиля.

И тайга отозвалась:

«О-гой»…

Осмотрелся кругом: лес, снег, клок седого неба — вынул изо рта неугасимую:

— А-гык!

Резко, четко, словно шайтан к ушам:

«А-гык»…

Пиля любит покричать в тайге: один, скучно. Крикнешь — ответит, ну, значит, двое, не один.

Пиля большой ребенок. Сколько же Пиле лет?

— Трисать пиять.

Пиле в прошлом году на ярмарке в Ербохомохле сорок было, ведь сам же говорил всем:

— Сорок… Мой старик есть, совсем маленько старый… Дай, друг, винца.

Да и сам батька, поп Аркашка кривой, священник в книгу заглянул одним глазом и сказал:

— Тебе, чадо, сорок стукнуло. А ты и на ис-

поведи не бывал. Хоть бы соболька от трудов пожертвовал, а то бог хворь нашлет.

А вот теперь Пиле только тридцать пять. А весна придет — может двадцать будет, почем знать… Может, пятнадцать…

Озирается Пиля, нюхтит, как собака по следу соболя, пытает снег, пытает небо, пытает морозный воздух, ищет глазами и душою хоть малый знак весны.

— Нет, зимно… Синильга — снег кругом, льды кругом, мороз.

Костер урчит — лопочет. Желтое, красное с синим переливом пламя взвивается вверх, когда Пиля сует в костер целую лесину. Холодно. И нет солнца. Куда оно делось, куда ушло? Заблудилось что ли, или болезнь забрала его? Вдруг помрет, подохнет солнце? Ой, как худо тогда. Тогда и весна не придет. И Пиля останется один, совсем один, как в небе месяц.

Суетливая Камса прыгнула ему на грудь и дружески лизнула в толстые губы. Сплюнул Пиля и пнул собаку под живот, а сам повалился в снег, стал кататься и корчиться, словно в тяжком припадке, стал кричать придавленным голосом, как у попавшейся в капкан лисы:

— Скушно мне, как скушно! Эй, баба, девка,

иди!..

Собаки гурьбой к нему, не знают, чем помочь: беда пришла, или так сдурел хозяин, может игру завел.

Собаки выть начали. Вот олени примчались: скоком, скоком — стоп! — окружили хозяина кольцом, закинули густодревые рога назад, из ноздрей белый пар.

А Пиля все кричит:

— Ой-ой! Какой я один… Собака я!

* * *

Стойте ветры, не метите снег. И ты, кривая сосна, не качайся.

Солнце, где же ты? Ну, ну! Разве не чуешь, что Пиля собирается в дорогу?

Крутятся вихри, воют шайтаны в трущобах темных, ходит ветер по вершинам, шумит тайга.

Смерть.

Кому смерть, а Пиле любо: да если б кругом Пили выросли ледяные горы, если б вся снеговая туча опрокинулась на землю, и бешеный ветер рвал бы с корнями лес, — для Пили одна забава — встал, пошел: Эй… эй!.. Сторонитесь льды, прочь крылатые, косматые вихри, эй… эй, — умри, издохни, ветер — Пиля идет! А куда? Хе-хе… Куда

собрался Пиля?

— Самую красивую найду.

Скликал оленей:

— Орóн! Орóн!

Связал гуськом, в ольгóун, на переднего, — ýчуга — седло набросил.

Стоят олени, дышат, будто говорят:

— Найдем, найдем, самую красивую найдем.

И собаки черные крутятся возле, черные, а поседели — снег, мороз:

— Найдем, найдем, — взлаивают хором.

Пиля весь погружен в сборы, неугасимую трубку некогда раздуть: торчит в зубах мертвой загогулькой.

— Айда вперед… Ко-ко! Ну, вы, не отставайте!

Куда? Прямо. В то место, где весна живет. Прямо. Даже не оглянулся Пиля на брошенное стойбище. А что ему? Пиле везде приют. Был бы огонь да лес.

Сидит Пиля на переднем олене — олень рогастый, крепкий — голова у Пили огромная — вот так башка, этакой во всей тайге не встретишь. Не даром все смеялись над ним:

— Как ты и родился такой?

Башка у Пили волосатая, длинная грива сзади, в косы плести Пиля не умеет. А поверх волос

— какой-то колпак из красной тряпки.

Вот все, бывало, говорили: Пиля урод, Пиля страшный: сам лесовик с перепугу сдохнет, ежели встретит Пилю невзначай.

С утра до но́чи, с утренней зари до поздних ярких звезд, каждый день все вперед, вперед правит путь свой Пиля. А чего ищет — не находит.

Как стрела из лука летит его взор туда, сюда: выйдет в долину речки — во все концы смотрит, взнесут его олени на вершину сопки — край неба виден — а того, что надо — нет…

— Мне надо бабу, — говорит он каждой сосне кудластой, каждому гнилому пню.

— «Может, жену, может быть, мать с сестрой?» — спрашивает его ветер.

— Бабу! — упорно твердит Пиля и свистит злобно, звонко, словно иглой каленой колет насквозь тайгу.

Он очень хорошо знает, что ему надо. Не жену, не сестру, не мать.

Ему надо все:

По тунгусски:

— Аши.

По русски:

— Бабу.

И мать, и сестру, и жену, все вместе.

Разве была когда у Пили мать? Он от поганого гриба родился, его шайтан принес. Не было у Пили матери, а надо. До зарезу надо, тоскливо одному, все один, да один. Скушно.

И сестры у Пили не было, а надо.

А вот и самое главное, что надо Пиле, всему голова, страшно и подумать: жену.

— Ох ты!.. Жена-а! — сладко простонал Пиля, зажмурился, ухмыльнулся во весь рот, боднул головой, едва на олене усидел — голова у Пили огромная, что твой пень, перетянула.

И куда его несет олень — не знает, что кругом — не видит, все пестро, пестро, искры красные в глазах, огни по сторонам, и словно бы кто тихим голосом поет, женским, заунывно так, тонко выводит, ласково.

— «Вот и я… Что же ты. Слезай, бери!»

Всхрапнул Пиля, открыл глаза, тьма кругом.

— Неужто ослеп я? Неужто спал?

Ночь, звезды. Олени в куче. Видно, давно остановились. Собаки спят. Удивился Пиля.

— Ночь, верно ночь… хе!

Развел костер, набросал по снегу хвой, раскинул на них шкуру, лег, а сам думает, греясь у огня:

«Надо богу помолиться, как поп священник учил, Аркашка кривой, батюшка отец».

Встал Пиля на колени, крестится, в небо смотрит, в Золотой прикол, — звезду высокую, — требует, кричит:

— Эй, Никола батюшка! Слышишь, нет? Давай мне скорей бабу, пожалуйста давай. Один я, сиротинка я… В каменный чум к тебе приду, в гости, ты там за стеклом сидишь, знаю… В шапке… Ежели дашь, эй, Никола, и я тебе дам!.. я тебе палку поставлю, как ее… Мягкую, с ниткой, как ее… Слышишь? А не дашь скорей бабу, так и наплевать! И сам найду. Прощай, Никола-батюшка. Русский бог — матушка.

Пиля так усердно, так часто в землю бухал, аж вспотел. Мороз с дымом, с белой пылью, а Пиле жарко — стал снег глотать. Потом вытянул ноги и завяз в мертвецком темном сне.

* * *

Так только в сказке бывает, в страшной и сладкой сказке.

— Вот олени, вот и собаки. Гляди, гляди: человек спит!

Девушка встала над Пилей, звонко смеется, в ладоши бьет:

— Гляди, гляди!.. Страшный какой, губастый.

А Пиля дрыгает то правой, то левой ногой, губа-

ми чмокает, облизывается, должно быть сладкую ежу ест, должно быть, крепкое вино пьет, видишь: в пляс пошел.

— Ха-ха-ха-ха-ха!..

Всхрапнул Пиля, продрал сначала правый, потом левый глаз.

Сердце упало, ударило, кровью захлебнулось: — «Баба, — женщина». Узкие щелки раскосых глаз шире, шире. Открылся рот, в улыбку сложились губы, и ноздри стали раздуваться, как у хорька, почуявшего пахучий след белой куропатки. — «Баба»! Неужели сон? Нет, смеется. Живая, румяная, и серьги в ушах. И крест, и браслеты. Веселая.

— Здравствуй, — сказал Пиля и приподнялся.

— Здравствуй, — ответила живая, веселая.

Пиля изо всех сил обоими руками свою голову скребет, вынул трубку, достал уголек из полусонного костра.

— Ты кто такая? Девка? Баба?

— Девка.

— Откуда?

— Я? Смотри! — она быстрой рукой ткнула вправо: звякнули в ушах висюльки, — вот!

Дымок вблизи клубится, чум стоит.

— Когда пришла?

— В ночь.

— Куда идешь?

— Не знаю. А ты куда?

Пиля подумал и сказал, усердно царапая руками спину.

— Я? Маленько знаю, маленько нет.

— Ищешь, что ли, кого? Может оленей ищешь? — спросила она.

— Ищу, — сказал Пиля. — Тебя ищу, — и прищурил глаз.

— Меня-а-а?! — насмешливо протянула веселая и так круто повернулась, что подол белой ее парки хлестнул Пилю по приплюснутому носу.

Пиля дружелюбно крякнул и чихнул. Потом лениво потянулся за жердиной, чтоб огреть сученку, хамкавшую над самым его ухом, — глядь, а веселой то и нет…

Пиля протер глаза, что за чудо — нет. И чум пропал, и дым исчез. Эге-геее… На голове его зашевелились волосы, а губастый рот широко открылся. Прочь от этого лихого места, прочь!..

Было серо кругом. Издыхал, валился на земь день. Надо бы есть и собаки пищи просят. Некогда! Айда скорей…

С трубкой в зубах ошалело шагает Пиля лесом, оленей в поводу за собой тащит, острой пальмой

железной просекает сквозь чащу торопливый путь.

А тьма все гуще. Все ослепло кругом и в горной ночи, в черном морозе пересвистнулись шайтаны из края в край. И чьи то голоса: то хохот, то рев, то песня. Ах, проклятое место… Собаки жмутся возле ног, рычат, шерсть кверху, хвосты вниз. И заклятый черный дух за шиворот его схватил: ай, ай!..

Как бросит тунгус оленей:

— Батюшка Боллей, звериный хозяин, не мучь, пусти! — Да ходом, ходом, сквозь тьму, сквозь страх.

Вдруг светом опахнуло:

— Стой! Куда?!. Эй, бойе![1]

Пиля враз остановился. Большой костер. Чум, старик и та… вот та… веселая…

— Что ж ты, бойе, назад вернулся? — спросила она лукаво и стала выколачивать из здоровенной сохатиной кости мозг.

— Как — назад? — грубо проговорил Пиля. — Я вперед. Вперед да вперед.

Та раскатилась звонким смехом и погрозила костью:

---

[1] Примечания: 1

Бойе́ — друг, товарищ.

— Я стояла возле тебя, говорила с тобой. А ты сидел, сидел, да повалился, как старый сохатый и захрапел. Очень ты здоров спать, бойе.

— Врешь, — возразил Пиля, и для угощенья подал старику дымящуюся свою трубку. — Я не спал.

— Не спал? Ха-ха-ха…

— Что ж смеешься? Я был пьяный. Может и заснул.

— Пьяный? — воззрился на него старик, и сморщенное лицо его сразу покрылось маслом, — где ж ты взял вина? До села надо два месяца итти.

— Где взял? — задумчиво переспросил Пиля. — Уж взял. Я знаю, где взять. Взял да и взял.

— Ну, поднеси мне, — сказал старик и сплюнул. — Где же вино?

— А вот, — нерешительно ответил Пиля и стал копаться в кожаной суме. Он долго там шарил, кряхтел, сюсюкал. Старик нетерпеливо крикнул:

— Ну, скоро? Давай! Чего моришь?

Пиля посмотрел сначала в прищуренные глазки старика, потом на девушку и сказал:

— Вспомнил. Это я во сне пил. Русский угощал меня… Михалка. Во сне.

Тогда оба враз — и старик и девушка — захохотали.

— Веселый ты, — сказал старик, трясясь от смеха и кашляя.

— Мало-мало веселый, — подтвердил Пиля и тоже улыбнулся.

— Веселый, верно, — сказала девушка и облизнула свои покрытые жиром пальцы. — Веселый, только дурной.

— Россомаха дурная! Я не дурной, — обиженно ответил Пиля. Он жадно посмотрел на розовый горячий мозг, который отправила в рот девушка, на ее сладкие алые губы. И ему вдруг неудержимо захотелось есть и целоваться. Он жарко задышал и сел к костру.

— Как же не дурной, ежели колесо такое сделал: от нас ушел, да к нам и вернулся. Ведь твой костер вон там горел.

— Врешь, — сказал он.

— Вру?

— Врешь. Дай ка мне есть. Я голодный.

Она вскочила, дернула его за отсыревший рукав парки:

— Пойдем!.. Тогда будешь знать, кто врет. Пойдем!

— Ну, пойдем, — недовольно сказал Пиля и поднялся. — Мне все равно. Пойдем. Куда это?

Девушка пустилась рысью, серьги ее звенели,

он еле поспевал за ней.

— Стой! — крикнула она. — Видишь?

Они стояли у потухшего костра, на том лешевом месте, где провел он прошлую ночь. Пиля обомлел, льдом сковалось сердце. Но вот глаза его засверкали, он исступленно завизжал:

— Ты не баба! Ты шайтан!! Ты мертвая!!!

Та раскатилась хохотом и вдруг захрипела: тунгус схватил ее за горло и бросил в снег:

— А, шайтан! — шипел он. — Вот узнаю… кто ты есть… Ага!

Оба, урча, барахтались в снегу. Она со всех сил теребила его волосы, грызла губы, билась. Он рвал на ней парку, рубаху и хрипел, словно бешеный волк, которому скрутили морду.

Девушка почувствовала, как жесткие руки жадно шарят ее грудь. Ей больно, ей очень больно…

— Геть!! — раздался внезапный окрик старика, и по большой голове Пили стукнула, как по пустому котлу, жердина.

Пиля вскочил и отряхнулся. Поднялась и девушка, она закрыла лицо руками — яркий месяц в глаза светил — и отвернулась.

— Ну? — сердито проговорил старик и подбоченился.

Пиля пощупал затылок, — вспухла шишка

— и сказал тонким, виноватым, заискивающим голосом:

— Ты меня огрел ладно.

— Да-да… хорошо огрел, — согласился старик.

— Ничего. В самый раз. Больно ладно, — отчетливо сказал Пиля, он поймал ухом таящийся смех девушки и моргнул в ее сторону:

— Я думал, она шайтан. Нет, баба. Самая настоящая, самая живая, сладкая. Вот возьму ее к себе. Она дочь твоя?

— Сирота, — ответил старик.

— Все равно. Возьму. Эй, как тебя зовут?

— Го́йля, — тихим голосом отозвалась тунгуска.

— Ладно. Го́йля так Го́йля. Ну, развьючь моих оленей, поставь чум, свари сохатины. Да вот рукавицы порвались, зашей.

— Сделаю, бойе́, сделаю, — покорно сказала девушка и побежала.

— Пойдем ко мне, толковать надо, — проговорил старик. — Кто ты есть? Впервые вижу.

— Я есть Пиля Иваныч Дунки́ча, — по русски сказал тунгус. Его голос звучал внушительно и важно. Пиля даже удивился. Никогда не говорил он так.

Оба пошли к костру. Старик шел в перевалку,

раскорячив свои кривые ноги и подпираясь жердью, Пиля заботливо ощупывал свой вспухший затылок.

* * *

Еще до весны далече, а Пиля уже сидит с своей женою в собственном чуме.

Старик ушел. Это ничего, что он взял за дочь такой большой калым: двадцать оленей взял, полтысячи белок, пару соболей да мертвые часы с цепочкой. Как покупал их Пиля у купца, живые были, стрелка вертелась колесом, а как уплыл купец, поколели часы, сдохли. Пиля и камнем по ним брякал, и об сосну с маху бил:

— Нет, не стукат, помирал совсем.

Ничего не жаль, ни оленей, ни соболей, ни белок, а вот часы, хот и мертвые, а жаль. Но Го́йля так ласково улыбается глазами, так умильно что-то говорит с костром. Да пропади они пропадом часы!

— Го́йля.

Старик всех оленей Пилиных угнал. Только двух оставил, дочери да Пиле.

Пускай шагает по сугробам, старый, пускай. А им и тут ладно, у костра. Разве плохо пахнут свежие хвои, что густо разбросал Пиля в своем

чуме? Разве не мягки, не пушисты шкуры, что сидит на них Го́йля? Разве не морозна ночь, а в чуме так тепло, угревно, и такой вкусный пар клубится от котла?

— Го́йля! Эй…

Молчит Го́йля. Вот вздохнула. О чем вздохнула? Движенья ее быстры, руки проворны, ловки, блестит серебряный браслет.

— Волосы у тебя, как крылья ворона в снегу, о, Го́йля. Щеки твои горят, ровно огонь. Губы твои сладки и алы, как малина. Грудь твоя, все равно, как… — Пиля замялся, голос его дрожал, слова терялись и убегали прочь. — Все равно, как… ну, это… Ах, Го́йля!

— Как мы будем жить? — прозвучал ее голос. — Ты бедный. Оленей у тебя нет.

— У меня есть башка, у меня есть ружье. Не бойся. Будем жить.

— Я люблю оленье молоко. Где у нас оленюхи?

Пиля быстро сказал:

— Я пойду к шаману. У него волшебный бубен.

Го́йля насмешливо прищурила глаза:

— Ох, какой могучий шаман! Вот он переделает двух твоих старых самцов в молодых оленюх… — губы ее улыбнулись и дрогнула крутая бровь.

Пиля засопел и кончики ушей его вспыхнули.

— Отчего у тебя такая большая голова? — лукаво спросила Гойля.

— Когда будешь меня целовать, голова станет маленькой.

— Вот как! отчего?

— Оттого, что ты станешь целовать… Оттого, что…

— А ты умеешь целоваться?

— Я? — Пиля вынул изо рта трубку, отер толстые губы и тихо сказал: — Нет.

— Ха-ха-ха!.. Зачем же тогда взял себе Го́йлю?

Пиля снял свой красный колпак, с ожесточением долго скреб голову, потом сказал, чуть раздражаясь:

— Когда купил ружье, белку стрелял мимо, теперь бью в глаз.

Го́йля жадно затягивалась трубкой и выпускала из ноздрей густые клубы дыма. Она искоса посматривала на Пилю дразнящим взглядом. Их разделял костер.

— Ты разорвал мне рубаху. Иди на ярмарку, купи мне кумачу.

— Ладно, куплю две урбахи, три урбахи, — сказал Пиля и его кинуло в жар: Го́йля быстро обнажилась до пояса, и проворная игла с оленьей жилой замелькала в ее руках.

Тунгус весь сладко обомлел:

— О, Го́йля! — бросив трубку, простонал он. — Я никогда не видел тебя… Ни одну женщину не видел так, безо всего… Го́йля! — он задыхался и пьяно полз на четвереньках к ней. Та чуть пнула его ногой, обутой в бисерный сапог и проворно поднялась, огненная, гибкая.

— Лови! — с задорным, обжигающим смехом скакнула она по ту сторону костра.

— Ловлю! — ноздри его раздувались.

— Ай! — крикнула женщина, когда Пиля, опрокинув чайник, облапил ее. — Постой! — и оттолкнула с силой: Пиля набитым мешком шлепнулся в костер.

— Сгоришь, сгоришь!.. — и захохотала, серебристо, звонко, словно бегучая вода в горах. — Давай ужинать, бойе́.

— Давай, — отряхаясь и тоже громыхая счастливым смехом, отвечал по русски Пиля. — Моя шибко проголодался маленько совсем.

Первый ужин прошел в большом согласьи. Го́йля шутливо щелкнула Пилю ложкой в лоб. Пиля загоготал от удовольствия и громко рыгнул, что означало: спасибо, сыт.

Та рыгнула громче. Но Пиля, борони бог, не дурак: разве можно поддаться бабе? Он вобрал

живот, приподнял плечи, выпучил глаза и рыгнул оглушительно и страшно: спавшая у входа сучка спросонок опрометью вон, а Го́йля вздрогнула. Польщенный Пиля — хозяин так хозяин — гордо взглянул на жену, облизал жир с грязнейших пальцев, до суха вытер их об волосы и начал говорить торопясь и запинаясь.

Он говорил о весне, о том, как бил медведя, как обвалился снег с горы, как ходили по небу огнистые сполохи. И в каждом его слове, в каждом кивке головы и прищуре глаз чувствовалась радость: одиночество кончилось, скука сгибла. Вот перед ним сидит Го́йля, у ней черные косы, алые губы, и годы ее — годы молодого цветка. Он над ней, как солнце над землей: должна его любить, должна покоряться. Пусть она слушает двумя ушами, пусть поймет утробой. Он все сказал.

Весь потный от длинной речи он в упор уставился на Го́йлю, ждал.

А та, — далекая, далекая Го́йля — ее нет здесь, — протянула ему берестяную чашку с чаем и сказала:

— Я люблю сахар… Я люблю вино. О, веселая, веселая вода.

Кто-то вздохнул в Пиле, но кто-то и заулыбался.

Сахар что. Сахару у них будет много. Будет и вино.

Он Го́йлю в село сведет, за тыщу верст, а в селе коленкор, да сахар, а в селе вино, такое вино, — хватишь, словно уголь проглотил — огонь огнем — и сразу станешь богатый, сразу станешь ой какой сильный и счастливый. А потом маленький Пиля у них заведется, этакенький, этакенький. А потом малюсенькая Го́йля заведется… у-у… потом, потом…

…Когда в открытую верхушку чума сребролобый месяц уставил свой хитрущий глаз, тунгусы, досыта наговорившись, погружались в сон. Не так-то сразу заснул Пиля. Не так-то сразу и любопытствующий месяц откатился прочь — наступающее утро не спеша толкало месяц к низу.

Пиля, засыпая, слышал медовый шопот молодой своей жены:

— Вот завтра посмотрю, бойе, станет ли меньше твоя башка. Эх, дурной, дурной…

* * *

Как заснул Пиля улыбаясь, так с улыбкой и проснулся. Но когда открыл глаза, лицо его вытянулось, и нижняя челюсть сама собой отскочила: пред ним, грузно опираясь на палку и посмеи-

ваясь, стоял жирный-прежирный старик-якут Талимон.

— Ладно спишь, — сказал якут и захихикал, — так спит медведь в берлоге.

Пиля вспомнил, что должен якуту много денег, а старик крутой, беда.

— Ты, вижу, женился? — строго спросил якут, опускаясь у потухшего костра.

— Нет, — ответил Пиля. — Я бедняжка… Где мне…

— Нет? Хорошо сказал, очень хорошо сказал. А почему же с женщиной в одном мешке спишь?

Пиля робко пощупал меховой мешок, в котором лежал и, толкнув в бок пробудившуюся Го́йлю, виновато проговорил:

— Женился… Забыл совсем… Маленько женился. Верно.

— Давно?

— Да-авно, — неизвестно для чего соврал Пиля.

— Когда же?

— Вчера, маленько…

Быстрым оленем выскочила из мехового мешка Го́йля, приподнялась на цыпочки и крепко по-молодому потянулась, потом пошла за снегом, чтоб согреть чай. Круглая, как у огромного филина, голова старика повернулась вслед Го́йли,

и черные, живые глаза заблестели похотью. Он причмокнул губами, прищелкнул языком и спросил вылезавшего из мешка Пилю:

— Где достал, сколько калыму давал? Баба хороша, карауль бабу.

— Баба ничего. Ладная баба, — ответил Пиля. Он встряхнул мешок и в раздумьи остановился, с опаской посматривая на якута.

— Год нынче худой, белка худая, улов худой, — начал Пиля пискливым голосом. — А я тебе, бойе, должен ой, как много… Как и быть, бойе, как и быть… Я бедняжка есть…

— Баба моя старая, худая, живот отвис… — в тон ему, так же пискливо ответил Талимон, и смешливые морщины пошли от глаз по всему лицу. — Понял?

Весело, шумно вошла Го́йля. За нею три собаки.

— Геть, геть! — кричала на них. — Пиля! что-ж ты стоишь, как горелый пень. Почему погас костер? Почему гость сидит в холоде? Ну, ну!

В чуме мороз, но вот заклубилось трескучее пламя, мороз ходу, ходу, и вскоре такое тепло сделалось, что Талимону пришлось снять лисью шубу. Красная суконная рубаха, через всю грудь две серебряных цепи: одна с большим крестом,

как у попа, другая с часами; вокруг тугого живота серебряный с насечками пояс, руки в золотых перстнях и кольцах.

Бросив острый взгляд на якута, Го́йля услужливо засуетилась: гость богатый, может даст денег, может — подарит кольцо. Го́йля быстро заплела черные густые косы, быстро надела шитый бисером нагрудник-ха́лми: гость знатный, пусть смотрит, пусть любуется ее красой.

А Пиля сидел, повесив нос, шлепал толстыми губами и боялся взглянуть в глаза богатому купцу.

— Баба моя совсем износилась, — посматривая на круглые бедра Го́йли, говорил гость, — а я хоть стар, но еще крепок, как три сохатых. И золота у меня много. В тайге закопано и там, и там…

— Куда идешь, бойе́? — спросила Гойля.

— На ярмарку. Мой караван — сто голов. Остановился недалече. Гляжу — чум, слышу — собаки лают. Ага, думаю, стойбище. Вот пришел.

— Угощенья у нас нету… Я бедняжка есть… — засюсюкал Пиля.

— А вот, — сказал якут и развязал огромную суму.

— О-о! — враз вскричали тунгусы. — Огненная вода! Вино!..

— А вот, — проговорил якут, выкладывая боль-

шой кусок сахару, копченые оленьи языки, связку баранок.

— О! Само слядко! — вскричала по-русски Гойля.

— Сахар, — гортанно сказал старик, — он сладок, как женщина с розовыми щеками… Нет, женщина, в сто раз слаще. Когда она целует… о-о, тогда — защурился старик и поцеловал воздух.

— Зачем так говоришь?! — прервала его женщина, раскусывая сахар и раскладывая всем по кусочку. — Ты старый, у тебя жена, дети, внуки.

Якут захихикал, подбоченился и сказал веско, с расстановкой:

— Молодое дерево гнется, старое — твердо, как железный кол.

Но вот вскипело все, сварилось, и чарка с водкой пошла по рукам. Все веселей и веселей становился Пиля, все громче, задорней хохотала его жена. Толстощекое лицо якута стало красным, лоснящимся. Он хохотал вместе с Го́йлей, незаметно подмигивая на тунгуса, заводил песню, бросал и все чаще поддавал вином пару.

— Пиля! — крикнул он сквозь смех. — Смотрю на тебя и дивлюсь. Много людей пересмотрели мои глаза, такого впервые видят… Да ты бы взглянул хоть раз на себя в воду, что за образина. Тьфу!..

Ты не сердишься? Я тебе большой друг, и ты мне друг… Ну, зачем тебе жена, ну, зачем, скажи?..

Пиля враз перестал смеяться.

— Хорек и тот знает, пошто сделана жена, — оттопырив губы, процедил он.

— Ха-ха! Хорек!.. — воскликнул якут. — Из хорька чиновник шубу шьет, а твоя шкура шаману на бубен разве.

Пиля отвернулся, прикрыл лицо руками, засопел.

— Обидно, обидно это… Старый барсук ты, вот ты кто!

— Ха-ха-ха!.. Я барсук? — по злому захохотал якут. — А долг? Нешто забыл, сколько должен? Подай сюда! А нет — в тюрьму!

Го́йля испугалась, дрожащей рукой сует в самые губы Талимону вина:

— На, выпей, бойе́, выпей.

И сама пьет, проглотит водку, встряхнет головой, сережки звякнут.

— Ты не сердись, друг, я бедняжка есть, — умиротворенно сюсюкает Пиля.

— И ты не сердись… Я тебя люблю, я тебе весь долг прощу, отдай мне Го́йлю.

— Как можно! Что ты! Ты сдурел? — хрипло сказал Пиля.

— Отдай. Я твой друг. Я буду тебя любить. Ты двадцать оленей давал за нее калыму, я тебе дам сорок. Дам сто!

— Торгуй у шайтана дочь. Разве мало тебе баб? Ищи.

— Я нашел.

— Как бы мой нож не нашел твое сердце! — возвысил голос Пиля, и глаза его перекосились. Отточенный нож валялся у костра, манил. Рука Пили заиграла.

— Ну, спасибо, друг… Так то ты уважаешь меня, — оскорбленным голосом сказал якут, вздохнув. — Разве я на вовсе прошу Го́йлю? Я не на вовсе. Эх ты…

— Не на вовсе? — спросил Пиля. — А на долго ли? — голос его вилял.

— На месяц.

— На месяц? Нет на месяц нельзя.

И Го́йля подхватила:

— Как можно!.. Нельзя… нельзя! На-ка, бойе́, выпей. На еще.

А Талимон подкатился к самому Пиле большой копной, сел на корточки, руки положил ему на плечи:

— Мой батька уважал твоего батьку, моя бабушка уважала твою бабушку. Пошто меня уважать

не хочешь? Эй, Пиля! Самый лучший друг… Ну, а на неделю можно?

— Нет.

— Ну, на день?

— Нет! — упорно, резко рубил Пиля.

— Ну, на час?..

— На час? — переспросил Пиля и, упираясь пятками, немного отполз от якута.

Тихо стало. Словно застыло все. Даже звериный жир на горячей сковородке перестал трещать, и языки пламени к земле приникли.

— На час ежели — можно, — просто, от всего сердца сказал Пиля. — Корыстно ли? На час можно. Чего тут…

Как затрещит на сковородке жир звериный, как взметнется пламя, и гиканье, и песня. И сам Пиля пляшет, и Го́йля пляшет, и старый Талимон трясет толстым животом. И смех, и слезы, и собачий вой. Вина! Дайте Пиле огненной воды. Еще, еще! Э-эх!! Чум пляшет, земля трясется, белый снег под ногами вьюгой вьет. Вей-вей-завивай. Пуще, пуще! Э-эх!!

Упал Пиля и хохочет. Хохочет, хохочет. Схватил Пиля за шиворот собаку, целовать стал. Подполз к деревянной ступе, что сулихту толкут, целовать стал. Плачет и целует, плачет и целует, хохотать

стал: он самый сильный, самый богатый. Его жена самая красивая. Две урбахи, три урбахи… Ха-ха-ха… На час, корыстно ли… Где Го́йля? Где Талимон?!.. Стойте, ужо… Амиткалле… Амиткалле!.. А, шайтан, попался!?

Агык!!

И словно сохатый в яму — ух! По чуму пьяный Пилин храп пошел

* * *

Вот и весна явилась. Журчат ручьи. Под солнцем журавли плывут. Проснулась тайга, стряхнула зимний белый сон, позеленела.

Пиля один. Не встретил весну. Ушла весна и не простилась.

— Мошенник… — не сходит с языка у Пили слово. На час брал, совсем тащил.

Дни идут за днями. Трава. Цветы. Белки хо́ркают, птицы свирельные песни завели. Солнце жаркое, солнце светлое.

А Пиля один, нет Го́йли.

Думает Пиля думу неотвязную, утирает рукавом глаза:

— Один да один… Скушно… Ой, совсем один.

Прошло лето, не сказалось.

А там и осень. А там — зима. Хлопнул мороз,

сковал мороз воды бегучие. Снегом накрылись все пути, все тропы. И угрюмый медведь давно в берлоге лапу сосет.

— Го́йля!.. Гойля!!!

Нету. Эх, стоит-ли без Го́йли жить!

Страшный Пиля метался, по бестропным путям, он больше не кликал Го́йлю.

Однажды, когда стояла луна и мороз трещал, он выл, как собака и плакал.

— Прощай… Прощай.

* * *

Стойте ветры, не крушите лес, и ты, кривая сосна, не качайся.

Зоркий ворон покружил над сосной, сел на вершину кедра, смотрит. Человек. Аркан. Человек смирный, руки вниз, не шелохнется.

Каркнул ворон, взмыл черным кругом и — прямо к человеку.

В. Александровский
Цыганка

...И вслед за гармонистами,
Толкая синь и мглу,
Вошла бренча монистами
В пивную на углу.

Замедлила у столика,
Скривила болью рот:
— Положь десятку только,
Избавлю от забот.

Гул бесшабашной ругани
К столу да от стола;
Глаза еще испуганней
Метнулись по углам.

Строчил газетчик хронику
И пиво жадно пил,
И плакала гармоника
И кто то голосил.

— А ну, попробуй вдарь-ка —

За голенищем нож...
— Эй, Пантелей, сухарика
Да воблочки положь.

— Приснится же кошмар такой,
Не выдумаешь в век...
Помахивая фартуком,
Носился «человек».

— Да, это пиво славится...
— Так, завтра, здесь, в пивной...
— Эй, милая красавица,
Пойдем за рубль со мной.

С глазами девьи — чистыми,
Без пудры и румян
Ушла, бренча монистами,
На улицу, в туман.

1924

Вит. Федорович
Сказ о боге Кичаг и Федоре Козьмиче

Рассказ первый —

ДОРОГА В БЕЗДОРОЖЬИ.

Путина сбоку Ильменского кряжа, к перевалу, невыносимая — веками мостилась выщербленным зубьем скал кварца, змеевика, корунда, а осыпи разбивались единственно — колесами.

Вез на прииска слесарь Иван Захарыч. Приклеился к передку с русским равнодушием — так можно лететь, конечно, с цыгаркой в зубах, по самым разъадовым местам — пустяки, есть о чем думать, эка невидаль; можно и сто верст, только нужна остановка лошадей подкормить, а то ничего, бывает…

Но думать есть о чем. Конец в пятьдесят верст подобен хорошо придуманной пытке. Что колеса беснуются, что визжат, скрежещут, хряпают с маху — это звуковое добавление; главное — не то, главное — бесом мельтешит пустая мысль: что лучше — поджать ли диафрагму, сцепить

зубы? распустить ли эту самую диафрагму, ослабить челюсть? лечь ли боком, чтобы не оторвать сердце?

Иван Захарыч несется по россыпям с совиным позывом, ему дела нет до таратайки — останься одна доска передка, так же будет накручивать ремень кнута, накладывать ленивой пристяжке — «ехидной какетке», полустоя, чудом удерживаться на узком сиденьи. И вдруг, откуда-то с середины неначатого разговора, начнет с желчью тормошиться:

— Шут вас знает!.. Ефиопы царя небесного! Х-ха! Лечебное! Да подпусти к нему немца, либо француза, они бы из него всю печенку вывернули… И-и-и — э-эх, ехидная!..

— З… к-ко… г-г… гы?.. — спросишь сквозь сцепленные зубы.

Каждое слово трепыхается в горле Ивана Захарыча пойманной птицей, но летит точно, куда надо:

— Все из того же… Из Тургояк-озера… Дурь наша русская, неразбери-бери-беспросветная…

Отъехали верст за тридцать от Тургояк-озера, что похоже на пятидесяти-километровый в квадратах изумруд, овалом врезанный в Ильменский хребет. Занимательно бы посмотреть на

него сверху, как светится светло-зеленый огонь в темном, глухом, из кедров, сосен, пихт, елей. Растительности на Тургояке никакой — ни подводной, ни надводной, ни береговой — чистый глаз в белокварцитовом песчаном веке. Красота — озеро. Пленительно до сладостного желания припасть лицом к крупнозерью берегов и не знать что делать…

— Немцы, — продолжал верст через десять Захарыч, — распотрошили бы его по бутылкам, а вы бы в городу лакали, да похваливали.

— Рра… ди… акк… кти-вно?..

— Че-го? Вода — со смыслом. Всякая вода — со смыслом. А этой сам Кичаг коленки мочил.

— К-кой… Кк… чаг?.. Пот… ти-ше… За-ххрч!..

— Сама несет…

И стал наяривать кнутом пристяжку:

— Ишь, задрала хвост жеребенком!.. В невесты мостишься?.. У мене еще… улыб-нись… сте… (хлясть!) сте… (хлясть!) сте-ххе-рва!..

Нахлестав «ехидну», как следовало, за ее неровную прыть, ленивую, особенную женскую спесь, опять упорно замолчал.

— Дак… к-кой… Ки-чаг?.. — понудил я.

— Киргизья сказку сотворили. Или так полагается по ихней, по Коран-книге… Да что… видать

пословица не сломится.

Лошади запнулись, расставили лодыжки мочиться. Теплые камни ударили острым, пряничным духом. Захарыч спрыгнул легко, заправил лошадей из холодного ключа, что выбивался из под камня у дороги, а уходил под глыбы, поседелые серебристым лишаем. Кони пили жарко, смачно высасывали подонышки, от наслаждения полоумно поводили глазами. Попил и Захарыч из того же мятого ведерка, щедро проливая на грудь, на рыжую, забурелую под солнцем бороду. Крякнул, выплеснул остатки, подвязал ведерко под заднее осье. Твердо став при дороге, вынул кисет — разговорное средство.

— Так и ездите все от газеты? — строговато допрашивал он. — Сбираете, что почудней? Так. А пить-есть дозволяет?

— Помалу.

— Так. Чудная ваша ква-ли-ки-фа-ция… Ну что-ж, — примирительно крякнул он: — дело — не дело, а, как сказать, каждому кушать хочется.

Послюнил цыгарку, дергая о шершавый ус, с ухмылкой посмотрел в мою сторону.

— Специально… Вон в вервстве, в кущах, Федор Кузьмич поживает. Чего чудней. Спуститесь, подожду… Куда торопыжить?.. Вон лиственъ то…

Показал в долину на клок, проросший молодым лиственем — легкомысленная заплата, сделанная газом на сукне черной хвои.

— Кержак древний, что ли, Захарыч?

— Какой кержак! — засмеялся он и подтолкнул словом. — Да что… Говори господи-суси, да вперед посуйси.

Без тропок — уступы камней, на них — вертлявые ящерки, под ними — ворчливые ключи, а сами камни пригнаны прочно под осторожьем ноги. Внизу корчится по кустам речушка, из тех безымянных скромниц, которые неустанно поят большие величавые реки. Опять — кварцитовая россыпь, уже древняя, подернутая склизкой зеленью, а по ней, умудренная терпением, жадностью к росту, буйная поросль, тетехи — сосны в обхват, ели сумные, приникающие к думам земли.

Лешим ухало сверху:

— Ха-о-оп!.. Берь-е-з-за — э-ге-ей… Хо-о!.. Лисьвеню-у-хой?..

Захарыч, должно быть, умел сливаться с обломками — его не видно. И труден шаг в мокром долу. Когда же надоело вязнуть в трясине — прислушался. Смеются на перевале колокольцы.

«Такая дурацкая шутка — захотелось Захарычу, чтобы промялся, а потом почнет хохотать фили-

ном, гикать, терзать таратайкино тело.»

И тут, затесавшись в мелкую лиственъ, сквозь ее зеленое сиянье увидал Федора Козьмича. Признаться, вздрогнул. Но оправился, ухмыльнулся даже неизвестно откуда всплывшей мысли:

«Э-э... В чертей — не верите, а чертей — боитесь»...

Точно, жутковато, увидеть здесь Федора Козьмича после октябрьских громов. Чугунная улыбка, ямочки на пухлой нежности щек, миндалевидные глаза, незряче устремленные в выси Ильменского кряжа, легкокрылая, орлиная охрана у фриза. Да, странно: тенькающие вверху колокольцы, он — среди дикого леса, у дикого дола, где кинуты диким человеком эфеля, обезголоченная земля, разметанная меж деревами, как бы в схватке доисторических тяжелоногих ящериц, он — с безмятежной улыбкой — к небесным далям.

Завернут до пояса в трагический плащ. На колонке, повитой барельефной виноградной лозой с листьями (умышленно-мудро или без умысла — наивно?) растущими книзу, надпись:

«Государь Император Александр I Со-

изволил Добыть Своими Державными Руками золотосодержащих песков двадцать два золотника в 1824 году».

Золотой вес, точно вымерянный и сладкие путы молений, покаянные фотиевы псалмы, и лазурь Настасьюшкиных очей, и плен нафабренных взоров Аракчеева, и жажда втиснуть Россию в единое, бобриком стриженное военное поселение — вот обычный размах. А ему этого мало! — Перешагнул революцию и через сто лет стоит на чугунной ноге, с чужим паспортом Федора Козьмича.

— Х-хо-о!.. Э-ге-ей!..

Да не раз оглянулся на место в долине, где отметиной стала купа лиственниц — а и листвень тоже полюбилась мечтательно — мистическая? — да не раз мелькнуло:

«Э, в чертей не верите, а чертей боитесь».

Захарыч ничего не сказал, хмыкнул, блыкнул лукавым оком в сторону, взорал, взмахнулся над лошадиными спинами, собираясь лететь впереди лошадей — и стремил, пытаясь неукротимо выбросить под обрыв. Поверху, по Ильменю, следом гналось эхо вместе с трескотом колес, с присвистом. Насытившись удалью, въехав на

новый гребень, бросил возжи:

— Хорошо стоит? — спросил он. — А-х-ха. Катавасия у нас с этим Федором Кузьмичем… Вот Овсюк у нас есть, такой хохол… Бе-е-до-вы-й!

Ерзнул в полоборота в мою сторону, таинственно-хитро прищурил глаз:

— Принял, видишь, Федор Кузьмич все богатства от божка Кичаг. Если теперь его расколошматить, то, возьми в толк, — все богатства — прахом. Кузнец Цыпкин Влас на прииску прямо докладал: «Коммунист ты — не коммунист, а тронешь — молотком по башке». Да вы, небось, и про Кичагу не слыхали, язви-те?..

Сказ Захарыча — полусказка, полулегенда. Как земля в этих местах — полупочва, полузолото, полукамни-самоцветы — есть с жилкой, есть чистой воды, есть невиданных расцветок, — как кряжи — полугоры, полухолмы с мягкими, зелеными боками, как воды под каменьем — полуводы, полуаквамарин, подобный реке Белой, полутопаз, подобный желтой Каме, гордой, спорящей с Волгой: либо я в тебя впадаю, либо ты в меня.

— Три версты мотаться до прииска, но толком не расскажу. Толком — ох, есть мастера на язык. Слышал же я от киргизья. Ихний это божек, Кичаг. У них святые не то, что у нас — столбы столбами,

у них — скорченные. Любят хорошо посидеть, пораздумать до самого верху. Подожмутся пупом, упрутся неизвестно куды раскосым глазом и не поймешь — об чем… Нашим не угнаться, нет: простой народ, необразованный. У них самый главный сидит прямо на земле и держит — ой, тяжело на уме.

Он вскинулся, ужаленным:

— Ой, видишь!.. Ружья!.. Фью!..

— Какое ружье?

— Да вон!.. Фи-фью…

На дороге — стая уток, добродушно крякая, зобя помет, сбилась в кружок. Захарыч с досадой хлопал кнутом, свистал. Лениво оглядевшись, утье еще подпустило — фыркнуло вправо, к озерцу.

— Эх, ладны! Эх, кряковье! Да вы бы ружье!

Поуспокоившись, опустил плечи, побрел по канве легенды:

— Но этот — не главный, нет. Этот, Кичаг, пособачливей других товарищей, поближе к людскому. Хе… Да… И гнал прытко через Ильмень — гору — у каких-то, видишь, боженят перехватил ли, слимонил ли без счета всякого богатства. На шарап действовал — ну, и волок в подоле халата в свой край, в киргизские степи. Гнались ли за ним — гнались-то — гнались, — но больше по

оплошке — и кувыркнись об это место на хребте.

Он описал кнутовьем полукруг — будто здесь именно было дело.

— Из подола всю собь выхлестнул в дол. Вот спущаемся мы — это и будет Марьин дол. А речка по нему распространяется — Иремель. То — Большой Иремель, а это — Малый — вон там склещаются, у той излучины, в кущах не видать. А колдобины блестят по долу — где забойки старые. Тут есть — наукой тоже показано — при нем же, при Александре перьвом, нашли самородок в два пуда. В Екатеринбурге с него сделано точь в точь из дерева, может видели? Я — то в Екатеринбурге не бывал, а говорят, которые бывали. Наш Гречишкин видел, действительно подтверждает. А, тоже прими, перед французом случилось… Так. То — есть, на чем стали? Упал, стало быть, он. Ну, упал и упал. И все чисто выхлестнул в Марьин дол, и коленку себе растепашил о камни. Да так растепашил — пиши пропало, дальше бежать — нипочем. А тут погоня к затылку — ветром подает оттеда, с того края. Что будешь делать в этом разе? Тут, говорится, снял он с шеи амулет своего божеского звания. (У них, у всех есть — у нас образки, либо крестики, у них же — амулетье). Чистый изумруд весом фунта… в полтора,

может, и более того. И брось с досады на высоте. И скажи по своему, что то там — халды-булды… И на высшей точке расплылось от него — э-эх, зеленой, э-эх, многоцветкаплей озеро! И, хоть не во время красота — хуже, говорится, беса, а пришлось ему озеро по душе. Встал, окрестил: «Быть тебе, говорит, Тургояк». Жену у него самую любимую — у них по именью бывает жен много — так звали. Встал, может, и на карачках, — к берегу. Просыпались ему под ноги крупнозерьем кварец-пески. Помыл Кичаг лапы, умылся сам, ногу помочил, воспрянул силой, да за дело — подбирать добро. Что собрал, что так бросил, потому голоса уже достигали через гору. Но — не дурак, без призору тоже не бросил: место заклял крепким словом, конечно, по своему заклял, но выходит так: «Сволочье, вы сволочье несчастное! Будете путаться об этих местах, елозить будете на брюхах, давить, душить будете друг дружку, пропадете, — ох, пропадете пропадом от своего золотишка, прокуражитесь в тумане всю жизнь». Э-эх! Так-то. И мало того: доверил хранить собь Федору Кузьмичу…

Кончив — нет ли, — Захарыч завихрился с кнутом, заголосил по ущелью. Уже подъезжая к прииску, что впьявился землянками в раз-

вороченную землю, с изгрызанными берегами Иремеля, оборотился, внимательно взглянул мне в лицо:

— Слыхал, какой дурью живем? Не по-вашенски. А спроси золотарей: в каком разе так? — прямо становят: пока Федор Кузьмич в долу — будет золото, а уйдет он — уйдет и золотишко в землю…

На сегодня дорога кончена. Ох, тяжка! Сколько раз протискивалась из лесу в лес, о вековые корни спотыкалась, с горных ребер свергалась вкривь, застревала в россыпях, вязла в топких логах…

Рассказ второй —

ЩЕРБАТЫЙ МЕСЯЦ НАД ШЛЯХОМ.

Оба упорно молчали, мрачно молчали. Так дошли до вершины Откликного гребня.

Назар Овсюк, мой спутник, нарядчик фабричной золотомывки, как бы снят с Репинской группы «Запорожцы». Ему б жупан яркий, да шапку сивую заломить чортом, да кривую саблю, да смех сунуть в яркую кипень зубов. А он напустил дьявольскую мрачность, заправил в забойные сапоги пластунские штаны с обтрепанным лампасом, розовую рубашку подхватил пояском, с

узором молитвы от грыжи, вздел на казацкую упрямую башку неподходящее — шапку-ярославку из войлока. Одни усы, как усы доброго казака, да глаза — два огонька с дымком черных ресниц.

Молчанье тягостно в этих ликующих местах.

И то ругал я Ивана Захарыча, зачем навязал в товарищи мрачного хохла, ругал за неясное стремление — «представить почудней для газеты».

— Товарищ Овсюк (Хотелось сказать: «казаче, чим зажурился?»), может, у вас дела?

Трепал усом по груди:

— Сойдет!

— Да не хочу вас отрывать.

— Во-о-бра-жа-е-тэ?..

Отвечал с непонятной интонацией насмешки, лаконично, в плохой связи с вопросом, черт знает, почему — вызывающе. Только при переходе юркой речуги Овсюк обронил думку:

— Как Лаба.

— А вы с Кубани? Я-ж — с Кубани!

— Эге, земляки! Я-ж — с Лабы, из станицы Ахтырки.

Видать, задела его желтая зверь-Лаба, что иной раз катит камни с дом, иной же тиха, да приветлива, как дивчина с карими оченятами.

Пройдя чуть приметной тропкой по дико расхлестанным осыпям, взбирались на самый гребень. Он ловко вздергивал меня за руку на уступ, змеей пролезал в окошко под нагроможденными обломками, досадливо звал:

— Та, — ну-ж!

Внизу по зеленым лесам бродили ягодники, долетал девичий зов:

— Хов-рюш-каа-а!..

И от девичьего покрика гребень теплел голосом:

— Хов-рю-шка-а-а-а…

— Такая махина и свиная кличка! А, земляк?

На площадке ветер справлял дикий грабеж, сдирал рубахи, рвал, тесня упругой грудью. Овсюк сел в брусничную кровь:

— Бувае…

Даль слала леса мошком. Зеленые лога — чаши дымились молоком. Заводы, поселки картонными моделями ладно пригнаны к земле — верст на сорок видно. Вправо — Большой Таганай пиком. А впереди — Круглица — полная женская грудь с неотсосанным девственным соском. А может, то уснула где в логу, в лесных пущах, красавица, разнежилась во сне, повернулась на бок, выткнула голую грудь.

— А то — Кичагово озеро? — ткнул я в далекий изумруд Тургояка.

— Бувае — оно.

— Тургояк?

На легкомысленную тавтологию Овсюк только сплюнул, достал кисет. Ветер озорничал, выдувал махорку. Уткнулись головами под растопыренным пиджаком и от этого пустого момента стали как бы ближе.

— Давненько с Кубани? — спросил Овсюк.

— Годов пятнадцать.

— Эге!

И крутнул головой:

— Та я-ж сам устрял… — Подозрительно взглядевшись, спытал: — Про случай с башкиренком чули?

— Чул, — слукавил я.

— Та, мабуть, не по всей правде зачепили? — потемнел Овсюк.

Я молча готовил еду. Овсюк смотрел мне в руки, хмыкал отрывочными словами.

— Хведора Кузьмича, — вздохнул он, — уволить с прииска треба. От Гречишкина чули? Як ботало, цей Гречишкин. От него?

— Эге, от него.

Насупился. Исподлобья жег угольками. Видимо,

ему хотелось зацепить по всей правде, особенно перед земляком, и нужно также знать, что там набрехал Гречишкин.

— Та, може, от Иван Захарыча чули?

— Та, нет, от Гречишкина.

— Той Гречишкин… — сердито рванул Овсюк, — собачий брехунец…

Поиграл рукою у пояса, где раньше болтался кинжал:

— Не так було. Вы люди высокие, вы вразумеете…

— Не бредуйте[2] колбасой, — предложил я.

— Та — ни.

Он отмахнулся — все от кипучего раздражения на «собачьего брехунца» Гречишкина, — попросил папиросу. Выкурив с маху, Овсюк «зачепил».

И снова встал Федор Козьмич. Да какой! В таком мистическом сгущении, что таганрогская легенда — реалистический назойливый пустячек. Вышел и Кичаг — опять второстепенным божком. Еще Иван Захарыч смутно чувствовал: да, божек, но не-то — «собачливый». Еслиб не был «собачливым», зачем нарушать высокий закон созерцания, бежать воришкой, сбивать коленки,

---

[2] Примечания: 2
Брезгуйте.

заниматься заклятиями, превращениями предметов? Тронул в рассказе Овсюк одним краем и Емельяна Пугача с его вольницей, притиснутой в этих горах «Катриным войском».

— И доси нудно сгадать, — путал он «кацапские» слова с кубанскими. — И доси — ой, важко… Идем по степу байстрюками, народ ховается, башкирята — в землю башкой, та скулять:

— Ай, бачка, ай бачка…

Сотник наш пил до сточертения — матерный звычайно. Голосить:

— Все… у чертей порежу на бишбармак![3]

Один башкир не злякался, ухапыл штаны — каже:

— Ай, бачка, худой бишбармак.

— Хто — бачка?! То я — бачка?!

Та не вчул — он его саблей пополам, от головы до живота. Ой, доси нудно згадать! Кажного дня, а то на дню три злодейства. Та казацько то — дило? Зажурился я. Чую, в ночи звычайно тонко кличе дивчина: «Ой, Назар, бедна голова! Ой, Назар!»… А братики под бок ногой:

— Чи чуешь, не скули!

Шабаш! Не пийду! Завалился разом на привале

---

[3] Примечания: 3
Кушанье из баранины.

в ярок, не наче нетверезый. На зари выкликали — не докликались. Остался в степу один. И бай — дуже! Похилился по травам на восход сонца — куда ни пийдешь, а Кубань не минешь. Хоть конца края не бачу, а то знаю: там встае сонычко, там сидае, а бильшь — та ни в зуб. И трохи не пропал. От такой — годок девятнадцатый, не тим будь спомянут! Крепачами ходили в поход, незрячи щенята! Э-э… до переляку[4] тяжко поминать… Чи чуешь, земляк, ось як було дило, а не так, як расказывал тот перевертень — Гречишкин. Послухаешь, дуже умна голова… а… того…

Исподлобья осмотрел зеленое раздолье, руками вычесывал бруснику, отбирал лакированные листки, отбрасывал, обрывал думу:

— Ну-ну… Придыбал до Уфимской. Не разберу, де — война. Повстречать белых — лихо, красных — того лише. Все братья перепутлялись. Думка бере за сердце, качае, щемить… На ногах кровь повыступала, аж струпом позробилась. Господи, боже-ж мой! Матерь божья! Казаку не гоже молитвы спивать, — не чернец, не баба, а в одной молитве, парубком спивал, як по станицам колядували, люди жалю спивают — не знаете

[4] Примечания: 4
До перепугу.

бывало?..

Бачит творец,
Що мир погибае…

Я подхватил колядку, которую в детстве сам певал:

Архангела Гаврилу
В вертеп посылае…

— Мабуть, так. Та не спошле в вертеп, ни! Таки вертепы пишли по билу свиту — ой, важко! Большевики, мутять свит, а генералье — того хуже… Э, пиду на Кубань, найду батько Махно — таку завирюху вчиним! Большаков расколошматувать — одно! Та зробыть круг — умнийших голов — батькив — другое! Та зробить для всих людей вольну жизнь… От такой дурень! А силы нема — сидають ноги. В ночи знов — завалюсь спать — снится щербатый месяц над вишеньем; сяде низенько, аж бачу: то — не вишенья купа, то — могила, та дорога… Спрокинешься:

— Геть до бису!

Чи вам не чудно таке слухать?.. Га? Чи не чудно?..

Запахнулся от холодного ветра, хохлацкими неверами буравил долго.

Лежал он поперек вершины, к камню головой, — и перевальной вершиной была вся жизнь в этот «годок девятнадцатый».

— Ледве[5] не голым добрался до Кочкарского перевалу. Иду сельцом — домовина, не сельцо: ни куска мяса, ни зерна, ни поляницы[6] завалящей… И ни одной косоглазой души. Вышел к кринице попить — вода смердить, силы нема. А, чую, голос из под земли подае. Слухаю, слухаю — из криницы подае. Взял каменюку добру, схилился над криницей, кажу: «Да воскреснет бог и расточатся врази его»… Знов подае голос с самого низу:

«Бачка-а… а-ай, бачка-а»…

Перелякался дуже. А потом — того… очухался. Та то-ж несчастна судьбина, твои ж братики наробили… Бросил каменюку, нашел веревку, спустил, кажу:

— Як не нечиста сила, — почепись!

Смыкнуло, як рыба-сом, зразу, а потягну — отвалится, та знов жалю:

— А-яй, а-а-яй.

Нашел в хате ременны вожжи, густо посолил крестом — бо знов напала страховитость — бро-

---

[5] Примечания: 5
Едва.

[6] Примечания: 6
Хлеб.

сил, подаю:

— Обвяжись, нечиста сила!

Чую, засмыкало грузно. Тяну — человечья башка вытыкается, руками орудуе. Ну, обнакновенное башкиря. Село на землю, спиной к кринице, лупае очима, як котиня. Прихилилося, стукается башкой, эй, жалю[7] задае. У мене ноги згагой[8] заклекло — его жинку, дитын, троих, в криницы потопили… Э, козаки!.. Э, братики!.. Э…

Вечерело. Сосок Круглицы трепетал теплой радостью — к нему склонялось, лаская, солнце, прижимало багровеющую сладким грехом щеку. А внизу, где в перевал упирается дорога, ехало гусем пар двадцать телег, пар двадцать мужицких рук упирались в оглобли, подсмыкивая за осье. Лошаденки шатались под ветром, запинались. Видно, издалека. В хвостах лошадиных были чуть приметны желтые жгуты соломы.

— Та то-ж — с ярманки, — пояснил Овсюк. — С ярманки, с Барналу, тысячи две верст. И горою — в лес, и долою — в лес, и лесом — в лес…

Мужики не осилили перевал, покрутили руками, свалились в сторону, в лесок, закурили

---

[7] Примечания: 7
Плач.

[8] Примечания: 8
Судорогой.

кострами. Овсюк долго следил их, подставляя усы ветру.

— О так. Зажил козак, горе покатил. Башкиренок кажный божий день бишбармак наворачивае, неизвестно де скотиной раздобылся, и посбежалось их в сельцо до черта. Посадить, як боженя, на ковер, гарны куски выбирае в котле, руками пихае — в мой рот — и погано до звычайности, та такий обычай. И горилки пиднесе добру чарку, и на сердце зробить горилка не так хмарно — горилка козаку лучше, чим десяток жинок… Та ей-ей! А балакае кажному дню одно:

— Ай, бачка, овечка здоров?

Кажу:

— Бо дай ты схилився, — здоров.

— Кубылка здоров?

Эх, кобылка! Кажу знов:

— Здоров, спасиби.

— Жина здоров?

— О-то, бис! Нема жинки, вчорась сказал.

А треба час знать — збираюсь в путь. Лащиться башкиренок, не пускае. Посадил на прощаньи на ковер, сел супротивку, глазами лупае, лупае — молчит. Потом пытае:

— Залата надо, бачка?

— Эге, кажу, такого добра, та не треба…

Башкиренок очи зараз захлопнул, смеется, языком балабанит, та не врозумею чего балака. Повел в каморку — там у его кирки, лопаты, три коробца с порохом. Понакладал в суму баранины, той поклал порох, — каже:

— Давай, батька, залата! Ай, хараша!

— А далече?

— Ай, бачка, хараша, ай, минога, залата!..

Така зараза! Таке дило, хоть таньцуй. Снарядил. Дал халат, шапку — зробился я башкиром. Раненько на другий день, до свиту, пишли. Мабуть, верст сорок, або полсотни отчебучили. Лесами шли, а пушки буцають по верхам. Я-ж не бачил от того страху — дума нудила…

Иду, як слепень, розмовляю в себе: «як бы башкиру треба мене убить, — раньше б убил. Мабуть, золото нагодувал»… Пришли на озеро. Высоченько в горах. А рядом — через уступку аршин в двадцать — друге, та сажень на пять нижайше. Башкиренок враз струмент побросал, на землю сел, руками ухи, очи позакрывал, — лотошить. А тут терпенья нема, руки трясом ходють:

— Де-ж колупать золото?

Он встал, я — знов:

— Де колупать, бисов сын?

Каже:

— Тута, бачка. Попала, бачка. Ой, папала!

— Ну, пополам, на-двое, разумею… Де-ж оно?

Повел в низочек, по ручью, к большому озеру, вымолвляе:

— Тургояк, Тургояк.

— А чертяка — ему!.. Де — золото?

Поднялся знов в гору, показал:

— Инышкуль, — айда… Тут, тут залата…

Дергает башкой в низочек — не врозумею, чего балака.

— Та бачу — Инышкуль. А клад де-ж?

Як визгне:

— Ай, бачка, залата! Бачка Пугача клал. Пугача. Ай, пидисеть бочек ест Инышкуль-озеро.

Така дурость! Вдарило в башку, цопнул его за шею:

— Так ты глазувать[9]? Знущаться[10]? Як жабу, стопчу! Де золото?

Та каменюку добру пидхватил. А он лупае очима, та большь ничего…

— Геть, кажу, от греха, Юда Скариот!

Он — то до речки, то — от речки, як сука по зайцам. А не бреше, ой, не бреше! Сам чул: Еме-

---

[9] Примечания: 9
Насмехаться.

[10] Примечания: 10
Издеваться.

ля Пугач в тех местах, як поперло его Катрино войско, золото покидал в озеро. А озеро, бачу, выпустить — одним махом — толко порог взорвать, само кинеться в низочек. Беру кирку — козаки дотепни[11] до всякого дила — и башкиренок бере. Плантуем: де втравить порохом, де долбануть киркой. Башкиренок смеется, на животе ползе…

— Годи, кажу, сердце, не сердися.

Доки я плантувал — башкиренок пропал. Така забота! От тоби клад! Аж он к вечеру вертается с живым пивнем[12].

— Ай, бачка, голосить, наша — залата!

— Виткиля наша?

— Она смеет. Кичаг казал… Кичаг смеет…

— Котора смеется? Который — Кичаг?..

— Там! — пидал рукою в горы, и таке лице зробил чудне: — Кичаг… Ай, Кичаг. Она казала — тута.

Та на небо косым оком зиркуе. Ну, бис твому богу! Пивню голову зараз оторвал, в котелок — зьели, узялись за дило. А камень, як нечиста сила, держить. Порох не бере, кирка не бере. Покладем в ямку порох, а он хвонтаном хлыстне — и конец.

---

[11] Примечания: 11
Способны.

[12] Примечания: 12
Петухом.

Десять шагов каменюка, а кирка зворочается колбасой. И голодували! Боже ж мой, як голодували! От голоду очи заслоняло то — червонным, то — синим, то — зеленью — пропаща доля. Мабуть, две недели били — каменюку, а зробили ярок аршина в два. Та рыбу ловили — плоха справа сыра рыба. Под конець морда зробилась, як очипок[13], очи кровавы, руки не держать.

А то вразу втюхались драться — чуть бачка глотку не перегрыз. Место — глухе. Сельцо версты три, та пустое, разбидоване. И горько от дури — чужую дурь отведешь, а свою и не побачишь. И знов дивчина в ночи вымовляе:

«Ой, сердешна голова! Ой, бидна доля козацька — злыдня робить»[14]…

А то ласково, як невеста на свадьбе свату:

«О це-ж — прянички! О це-ж — сливяночка! Шишками не бредуйте — дуже гарны».

И месяц щербатый выплывае. Сяде на горбочку могили, глазуе. А то насупиться хмарой, застогне, застогне… Раз той башкиренок кирку шваркнул, на камень сел, смеется, под заход солнца показуе:

---

[13] Примечания: 13
Повойник.

[14] Примечания: 14
Пустяки делает.

— Идем, бачка!

— Куды?

— Кичаг нада. Она золота держи. Нада… Прасить нада…

Не врозимию. А думка бере: провизию десь схапать. Пийшли моторни[15] парубки: де присидали, де падали, де на карачках — верст, мабуть, с двадцать шли. Пришли под гору в ночь. Бачу я, в кущах стоить черный стукан. Один стан стоить, а пид станом четыре птицы. Человик я дуже голитний[16] — черта в ложке втоплю, а тем разом испугался. Башкиренок на коленки впал, и я — на коленки. Башкиренок до его — ползком, як побита собака, и я — ползком. Башкиренок голосить, и у мене в голове не наче звон. Крутяться дерева, а стукан тихесенько развернулся, от свитки свободился, орлы головы повернули, сычать… От так сычать, — языковаты дуже… Башкиренок, як звизгане, та башкой — в землю… Я ж тем разом… потерялся в розуми, впал. Така козакова стежка!.. Э…

— Ну?

— Та ну… Заря с месяцем устрелась — очухался.

---

[15] Примечания: 15
Пригожие.

[16] Примечания: 16
Смелый.

Прокинулся. Бачу, лежить башкиренок головой в землю. З гудом в голове зараз — к нему:

— Прокинься, сердце! Эй, прокинься!

Та на ногой — в бок. А башкир, як дуб заклек. Геть, дернул я с того места. Зиркнул назад, а орлы крылами махають, аж витром полыхае. Он же, братику, стоить, смиется… О таке — помрачение!..

Ветер выдул кривой, как саблю, месяц, посадил на пик — помрачение Назара как бы продолжалось на высотах.

— Эге, земляк… Пробалакали. Месяц щербатый — по над шляхом.

Спустились трудно. Гулко отдавали шаги на гребне. Как бы шел рядом, по вершинам, Кичаг, шел к долине Иремель заглянуть в чугунные глаза Федора Козьмича, пить молоко тумана, что колышется до самых краев хребта.

Рассказ третий —

БИТВА ПРИ ИРЕМЕЛЕ.

Ночью два узких поперечных окошка землянки — два оранжевых глаза большого зверя, голова на лапах — неотрывно глядят в звездное небо.

В окошко видно: Гречишкин читает книжку

всему синклиту фабрики, усиленно действует копченой ладонью, рубит, рубит по столу подле книжки, а то скручивает ладонь в кулак, машет у самого носа спорщиков. Оттого, что он иногда гвозданет по столу кулаком, кажется врытые в землю колья всаживаются, коробя доску. Он секрудком, считается самым ученым на прииске, поэтому, должно быть, «председает на всех и во всем», как выразился не без ревности Иван Захарыч.

Иван Захарыч — тут же. Овсюк исподлобья пилит взглядом чтеца. Четверо других упорно круглят глаза, стараются «взойти в понятие», наклонили головы, траща сталью лбов лед книжного языка. Иван Целеев, лихой работник, лихой драчун и кумышник, одобрительно крякает, что должно означать: «вот завернул!»... Но это — простая мистификация: знаки одобрения не всегда приходятся на сильных местах, что особенно раздражает Гречишкина. Продолжая дочитывать строчки наизусть, секрудком поднимает глаза, ехидно сощуривается:

— «...Иначе не была бы идеологией (Ну, чего ты?), то-есть не имела бы дела с мыслями (Чего шебаршишь?), как с независимыми сущностями (Поднесли тебе, что ты крякаешь?), которые

самостоятельно развиваются из самих себя и подчиняются своим собственным законам»…

Сам Гречишкин (каялся потом откровенно, как в «свинской несознательности») читал рассеянно. Точки, запятые выходили правильно, но думал о пятнадцати фунтах муки и двух фунтах сахару, что выписал завприиском, с помощью комбинаций в талонной книжке. Завприиском вчера весь день, запершись в кухне, варил кумышку. Обыскивать его рудком не имеет права, обжаловать в уезд — сто верст… Да обещал выдать сапоги, пожалуй, в случае чего… обнесет… А старые развалились… Вот тебе и философия!.. Но спохватывался, нажимая на слова:

— «Итак действительность вовсе не представляет собою аттрибута. Напротив, Римская республика была действительной, но также действительна была сменившая ее Римская империя»…

Приостановился. Твердый голос, недоумевая, погас на — «сменившая ее Римская империя».

— Понимаете?

— Угу, — неопределенно отозвался Иван Захарыч, забрав в рот рыжеватую бороденку.

— Ма-буть, так, — промямлил Овсюк.

— По-ни-ма-ете? — ядовито сощурился Гре-

чишкин.

Втюхались два слова: «действительна», «империя», втюхались после — «республики». Наворачивая книжные слова, Гречишкин вдумывался, — шевеля иглами усов, растущими через губы:

— Действительна, то-есть нужна… Но один аттрибут — против другого аттрибута… экономически, по фактору… Но опять тут — монархия…

— Меньшь балакай, — прервал Овсюк, — Там е знов про республику.

— Не учи… Несознательное чтение… оно…

И продолжал допытываться у книги:

— «Французская монархия стала в тысяча семьсот восемьдесят четвертом году столь не дей-стви-тель-ной, то-есть до такой сте-пе-ни ли-шен-ной вся-кой не-об-хо-ди-мо-сти, до та-кой сте-пе-ни не-ра-зум-ной, что ее должна была унич-тожить великая французская революция»…

— Хиба-ж она була разумна с самого началу? Ось таке!.. — сплюнул Назар.

— Еще чего?..

— Того… Як люди склещаються до жизни, то должны они начать с монархии, або с республики? Га, — кажу?

Вопрос поставил чтеца втупик, Овсюк же, про-

жигая глазами, затвердил:

— Знов — як? Каже Гегель, як — знов? Га?

Гречишкин встал, сел, встал. Доказательная сила — кулак — теневой птицей понесся то по стене, то по — потолку:

— Аттрибут тезиса монархизма взять, как сапог… Перевращение! Износить, бросить… Ты теперь за Михаила Романова не сорганизуешься? А почему?

— Я к — дилу, а ты — про сову билу!

— Стой, стой! Философский фазис республики говорит: сознательность появляется и появляется ре-во-лю-ция. Н-ну?

Назар крутнул головой, но замолчал, ковыряя пальцем подшивку на сапоге; глазами неотрывен, как двумя дулами винтовок из под пригорка.

— «Диалектика Гегеля, — читал Гречишкин дальше, — превращает рассматриваемый тезис в его прямую противоположность: все действительное в области человеческой истории оказывается со временем неразумным».

Он оглядел ряд:

— Теперь — понятно?

— Виткиля — к бесу! — опять запротестовал Назар.

Я собрался дернуть скобку двери, но сзади во

тьме раздраженный голос упруго толкнул:

— А с тобой канителиться… еще…

И разом потопило всего Гегеля, всю философию от века теплым женским голосом, которому ночь отдала всю свою острую нежность, горечь одиночества:

— Вас-ся…

Шаги близились к землянке — встали на горбу земли два силуэта до пояса.

— Чтение тут… политическо… Приду…

— Вас-ся… а… я… — голос сорвался плачем: — а я… за… заклетилася… тебя дожидаючи…

— Эй, Целеев! — окликнул меня голос. — Н-ну…

Видно было, как одна рука силуэта оторвала другую, бросила книзу, отчего весь силуэт упал.

— Да кто?.. Виноват! Здрасте. Я думал, Ванька… То как…

Вошли. Парня Васю сгорбила совесть — спрятался в тень, за трубу. Чтение оборвалось, сказать точнее: радостно оборвалось.

И понятно, — Фридрих Энгельс был новой землей, странствие по которой интересно, но трудно, требует затраты сил на каждой пяди. И так излазили пальцами каждую строчку, подчеркнули непонятные места карандашом, затерли некоторые страницы до белых пятен, а путешествие все

продолжалось. Краткая остановка на двадцатой странице, разговор о своих делах, как костер с булькающим чайником.

— У нас, ведь, что? — вопрошал себя Гречишкин. — У нас народ прогматизный — суеверие пропангаддируют… Такие черти, прямо беда!

Бережно завернул брошюрку в обрывок «Уральского Рабочего», положил на полку — кроме газет, на полке были только два прирученные, чуть приподнявшие от беспокойства усы, таракана.

— Вот кузнец Цыпкин прямо — провокатор, — приклеил Иван Целеев.

— Он, — робко донес Вася из за трубы, — вчерась пообещал то: «я им, агетаторям, башку сверну, если что… Федора Кузьмича коснется»…

— А уезд? — намекнул я.

— Уезд, что, — пристукнул кулаком Гречишкин, — культпросветную книжку не выпросишь… сто верст… да потом опровергают то: сознательные — так сами справитесь.

— А поди, справься, — вставил Целеев, — вон Назар на что бедовый, а всю жизнь пням молился.

— Не знать, чого базикать! — срезал Овсюк.

— Базикать! Эге! А не ходил на поклонение к Федору Кузьмичу?

Хохотнули — в окошки звякнуло. Овсюк по волчьи оскалил зубы:

— Отчепись… злыдень!

— По правде, в Михайлу веришь? — подстегнул Иван Захарыч.

— Ото…

Овсюк привскочил, как бы его ужалило, поблудил рукой у пояса, где раньше висел кинжал, но осекся, зацепив пальцем за пестрый поясок с молитвой от грыжи.

— Ото… гга…! гадюка.

— Стой, ребята! — махнул Иван Захарыч. — Они не для реготу приехали.

— Их интересует наш доклад о деятельности о культпросветной, — формально пояснил Гречишкин.

— Ну, культпросветность твоя… — отмахнулся Иван Захарыч. — Ты почуднее расскажи. Расскажи про битву на Иремеле.

— Ого-го! — даванули парни.

— Так некультурность… оно… кому… к тому сказать…

Гречишкин долго отнекивался, ссылаясь на «организатора Овсюка». Тот вертел круглой головой, очень довольный, впрочем, сваливал все на Ивана Захарыча. Иван же Захарыч разводил

руками, снова призывал в докладчики Гречишкина, потому что он может «развести по ученому», пленительным языком столицы, который, ясное дело, особенно близок гостю.

Хотя судьба Федора Козьмича меня занимала и все рассказы на глухом прииске вбирал я жадно, но обилие легенд начинало одолевать. Даже во сне, на приисковой кухне, наваливались чугуном, тревожили клектом козьмичевы орлы — опять как то выходило: «в чертей не верите, а чертей боитесь»…

Гречишкин, действительно, приступил к докладу торжественно, во всей красе начитанности и слога:

— Как сказал товарищ Энгельс, народ наш прогматизный — не понимает никакой новой формулировки…

— Народ, як люди, — буркнул Овсюк насмешливо.

— Может, ты будешь докладать, если несогласие? — уничтожающе скосился Гречишкин. — Народ у нас… Но есть на фабрике сознательные пролетарии с солидарностью. В настоящее время у нас, культпросветной организации, семь человек…

— Да ты ближе, — не вытерпел Иван Захарыч.

— Я могу уступить вопрос, — по парламентски холодно съязвил Гречишкин, но, точно, перешел прямо к делу:

— Числа это будет пятнадцатого августа, решили мы ночью нанести удар суеверью. Контр-революции у нас не водится… Этого, сказать, нету. Ну, с веревками, с крючьями — в пожарном сарае захватили — идем всем, как есть, культпросветным ядром. Назар ночью разбирает, будто прожектор, впереди шел, в полверсте, для информирования.

— Я-ж казал, наробим бешкету.

— «Казал»… Достигли до старого прииска, в кущах. Тут будто Федор Кузьмич где копнул серебрянной киркой. Оно, конечно, их монархическая физика нам известна. Тут же нашли самородок в два пуда. Может, видели мадель в Екатеринбурге? Первым достиг до памятника Назар — свистнул нам для внимания. Подошли. Видим, стоит Федор Кузьмич, как обыкновенным манументом чугунным. Вот…

Он уставил на поджатых коленках кулаки — эти волосатые молоты были полной противоположностью словесным узорам.

— Только приладились, размотали веревку с крюком, чтоб зацепить аттрибут монархизма, как свистнет камнем — рраз! Как свистнет Ваньку

Целеева — рраз! Прямо: грянул бой, полтавский бой, как у известного писателя Пушкина. Некультурность, — что ж поделаешь. Вот на скуле след — кийком дали.

Он предъявил порядочный шрам на щеке, еще не отструпившийся.

— Мы, хоть не потеряли хладнокровного субекту, но — это… по — правде… — дали деру, Назара же подхватили под руки. Туда, сюда… а камни — со всех сторон… Чего?.. К-куда?.. Втроем, действительно, сорганизовались к Иремель-речке, а весь комплект продуктов бросили на месте покушения. Да тут и шут не разберет… Четверо наших, слышим, прорвались, отстрекнули по дороге к фабрике, — а за ними с воем некультурная часть… Слышим, и нас шарят — голос возводит кузнец Влас Цыпкин: «Тут, тут. В Иремель башкой!..» Назару мы сознание в речке прояснили — отошел. Овсюк тоже слышит — шарят… А у него милитари… стические привычки, так говорит: «Лизай молчком в болото». Не того — это… а тоже… полезли. Было опасно… Эта часть… Тут такая кулькуляция может получиться — нырнешь и каюк: от рытья поделались ямы, а ямы затянуло рогозой, и есть такие ямы — сажени по две глуботы. Ну, это… Что поделаешь… Полезли в самую

рогозу по горло — вполне конспиративно. Ждем. Прямо — варяги первобытные с норманских островов. Это — ненормальная деятельность, но, опять скажу что же будешь делать — сидим по горло… И зуб на зуб не попадает. Слышим, опять голос Цыпкина… довольно таки очень хорошо…

— Та ни: Васыля Безоговорова…

— Не перебивай! Слышим такую метафору подает: «Камнем дербалызнуть по черепу, да и конец». Но потом пошебаршили, ушли окончательно. Тихонько мы поинформировались, чтобы вылезать, но Назар балотирует против того. Потому, говорит… Ну, терпим. Действительно, через минут пятнадцать, слышим, в сердцах плюнули… Здесь же, в самых кущах: «Устрекнули такие-разтакие»… Потом засекали огонь — видим, охотник Егор и ружье у него блестит на плече. Так. Стоят. И потом замечают в резолюции на наш же счет такие слова: «Другой раз не полезут, сволочье!» Ну, постояли еще — отошли к дороге. Переждали мы, хотя это дипломатию трудно было соблюдать, но потерпели, а потом вылезли. Трясет нас тимпературой, а Овсюк (мало ему!) решает опять вступиться: «Пойдем, ребята, свалим». Мы же опровергали на это — то: «С чем? С голыми руками? Или зубами?» Хоть еще про-

должалось ночное время и провокации ниоткуда не дожидали, но большинством голосов оказалась против. Оно вам, конечно, смешно, — такая борьба арены, а нам вот…

— Як-же не смешно: задарма по подтылице наколядували.

— Битва русских с кабардинцами, — засмеялся Иван Захарыч.

— Хотя факт и не доказывает… а несознательная у нас еще метафизика, — с унылой горечью подтвердил Гречишкин.

Маркс, Энгельс слушали со стены несомненно внимательно. И Энгельс особенно энергично держал голову, чуть в бок улыбался Гречишкиной «несознательной метафизике», рассказу о ночной «провокации» и «аттрибуте монархизма».

Рассказ четвертый —

В ВОРОБЬИНУЮ НОЧЬ.

Воробьиная ночь подбиралась к прииисковой кухне, ошаривала оконца срывными каплями.

Во тьме, похваляясь белизной, выставляла грудь печь. Донимало невнятным шушуканьем проснувшейся тараканьей армии. Боже мой, сколько тараканья! Первое движение, сутолока

по щелям, свободный бег, откровенное пиршество — у печки поцарапывают горшок с опарой, обсохшей по краям. Потом скупое зуденье крыл — слеились попарно или мет обильного потомства. Движенье к потолку — ссора ли самцов, появление ли сильного врага — мыши. Бегут в панике, тыкаются друг в друга, подковыривают усищами — шлеп, шлеп! — дождем на лицо.

— С-ско-тина!..

Скотина — овчинный тулуп, который старательно путает тайну самого длинного протяжения: то сползает на бок, то попадает шерстью в рот, обнажает ноги до живота.

Не до сна. Из под душной овчины слышно: ливень просыпал по крыше, ветер берет кухню за плечи, трясет до скрипов в половицах, кедры лезут иглами под стреху — не помещаются, размашисто, с расчетливым холодком смазывают избу по макушке.

Не до сна. В думе вязнет Федор Козьмич. Любо ли Федору Козьмичу стоять под разгулом тьмы, воды, ветра? Закономерно ли (по Гегелю и по Овсеку вместе) чугунному лицу, которое обоспили поцелуи зим и лет, закономерно ли улыбаться пухлыми ямочками? жать под трагическим плащем руки? ждать годы, десятилетия, пока оспины

проедят насквозь, пока веткой сковырнет улыбку в вязкую сланцевую грязь, вместе с бессильной крылатой стражей?

«Действительна, то есть нужна… Но один аттрибут — против другого аттрибута…»

Не до сна. Все могущество первобытного Кичаг в пустяке — его богатства рассыпаны по эту сторону кряжа. Все благолепие трона — блудливая улыбка, колонка обвитая виноградной лозой, растущей внизу. Божественная жадность, зашибающая коленку, посеяла (сообщение Гречишкина — саркастическое) ритуал золотаря: найдет в сланцах «счастье свое» — в два-три фунта золотой куст, выстелет от землянки к забойке красную тканевую дорожку, поклонится на восход солнца, обернется в ту сторону, где стоит Федор Козьмич, туже согнет спину, да придет ночью пьяный, обхватит колонку вытянутыми кайлом плетями рук, уткнется теменем в чугун, икая заплачет: «Хве-ддор Кузь-ми-ич — г… икк»…

Но тараканья паника невыносима — сыплются по всей комнате. Буря выхлестывалась, цапала окошко, чмокала пятками, терлась об углы, примериваясь двинуть кухню плечом. Холодно, жутковато, тоскливо без огня (неужели есть на свете электричество?), без теплого человечьего

голоса.

Тут и постучали в дверь. Давя тараканов босыми ногами, откинул крюк. Это — Иван Захарыч. Конечно, извиняется. Нагнулся к изголовью, заговорщицки дрожит бороденка:

— Не дадите ли револьвер — дурака свалять?

— На защиту или преступление?

— Против Федора Кузмича.

— Не возьмет.

— Ничего, подходяще.

— Можно с вами?

Иван Захарыч подумал, помолчал, бороденку сунул в рот, советливо обсосал:

— По мне — ваше дело… только есть среди наших провокатор. Не вышло бы хуже прошлого.

— А кто настаивает сегодня?

— Назар. Орет: «К бису Гегеля — пиду один на один»… да и только…

Пошли мы. А тучи действовали неприметно — истекали силой в беззвучной схватке. Земля во тьме наглоталась воды до сыта — не принимала больше.

Землянка — тут не давно распинали Гегелевы мысли — жалобилась слезливыми окошками. Ощупью нашли щеколду. И встретил сердитый ропот Гречишкина:

— Э-хе! Напрасно затеяли прокламацию. Мы бы вам утром с полным докладом.

— Така завирюха — куда к бису… — ворчал невидимый Овсюк.

Звякали железом. Переговаривались шепотом. План был выработан — Гречишкин кратко напоминал основу:

— По одному… солидарность… полнейшая конспирация… на старом току… без цыгарья… Целеев, твое выступление.

Целеев, приканчивая перешопот, раздраженно усилил голос:

— Эх, Васька… тебе говорю… такая, ведь, она… — отравится… а то…

— А бери себе, как надо… — возливо сопел Вася. — Что я, прикаянный?.. Как — воротит…

— Кабы воротило — не ходил бы по оврагам…

— Целеев, тебе! — оборвал Гречишкин.

— Слышу. Сознательные… распротоидолы…

Может быть, показалось, что «распротоидолы» было сказано душно, с болью, но дверь, точно, визгнула полоумно, едва не сорванная с петель Целеевской гневной рукой.

«Что же это? Вася не любит ту, павшую вчера силуэтом, а Целеев любит ее? Она силуэтом врезана в его буйную грудь? А, может, и так это»…

Шепотливая землянка передавала их по очереди бурной черноте. И были осторожны, как настоящие заговорщики на жизнь королей. Овсюк только не вытерпел, кинул, уходя, угрозу:

— Або — пополам, або — на-двое!

Гречишкин, шелестя венцерадой, перед уходом урезонивал:

— Какой вам принцип итти?.. А? Собаку не выгонишь… А? К тому — среди наших имеется соглашатель… И может выйти… эта… полнейшая катаклизма обстоятельств… Поверьте…

Последними вышли мы с Иваном Захарычем. Шли заячьей повадкой: забирали подальше от прииска, натыкаясь на размытые эфеля, обошли далеко по Иремелю, минули в версте скупой огонек кинутого Марьиного прииска. На старом току, в лесу, ожидали все — шесть человек. Овсюк, как и тот раз, ушел на разведку. Ждали, потягивая из мокрых рукавов сладкий дымок цыгарок. Чуть приметно барахтались обвислые ветки елей, большие сосны в вершинах скрипели, как бы от зубной боли.

Овсюк стал перед нами внезапно:

— Стривай! Ни бисового батька.

Ливень не утихал — ветки доили струи обильно. У легкой купы лиственниц, где стоял Федор

Козьмич, Овсюк еще раз окружил. Иван Целеев, не дождавшись, со спины Гречишкина перелез на спины орлов. Грузное, серое (он был крупен) обняло черный драпированный стан, потрясло, крякнуло:

— Осклизается, черт! И-ш-ш… т-ты… — он торопился, судорожничал.

— Стривай, крюк, — откликнулся Назар.

Клацая крюком, Целеев творил магические знаки над черной головой Федора Козьмича. Взмахнул полами, грузно ухнул с саженной высоты.

За канат ухватились шесть пар рук, напружились сталью.

«Все действительное разумно» — соглашаясь с этим, Федор Козьмич кивнул головой, глухо упал в траву. Он лег лицом вниз, рядом со сбитым орлом. Но заговорщики не смотрели, как именно лежал Федор Козьмич — они молча действовали: плечами опрокинули колонку, повитую лозой, растущей книзу, оттащили к Иремелю, спихнули в глубокое место, может быть, в ту яму, где еще недавно сидели по горло «в полной конспирации».

Сгрудившись у поверженного Федора Козьмича, заговорили. Больше всех суетился Гречишкин

— сердился. Назар Овсюк не отвечал, а тянул тело Федора Козьмича с Целеевым и Васей вниз на проселок.

— Я не позволю срывать демогогию… — шипел Гречишкин.

— Та — га!.. — натужился Овсюк, как бы волоча на аркане живого врага. — Та — га!.. Стара паплуга!.. Подтягни, Васыль.

На упругой глине пошло проще — Федор Козьмич легко скользил на спине. По прямой дороге до прииска — версты три. Овсюково чувство — что на аркане живое — овладело всеми. Упорно резали темень, ветер, ледяной сентябрьский дождь.

Чмякало чугунное тело. Цокая, когтил царя орел. Чернота — колюча. Глазницы луж — насторожены.

Упершись в темные молчаливые землянки, у самой конторы, приостановились. Овсюк сдвинул шапку на затылок лихим жестом казака:

— Упор-ка-лись!

— Да куда-ж?.. Вот наркомюстеция! — хихикнул Иван Захарыч.

Овсюк опять надвинул шапку, подхватил Федора Козьмича под голову:

— Пидсоби, Васыль!

Подняли, бурля воду, перенесли через канаву,

стащили за Овсюком в низкую пристройку возле конторы. Было слышно, как на тяжелый звук падения закурлыкали, забили тревожно крыльями куры и петух.

Ребята тихо засмеялись в упор вышедшему Овсюку. Пробужденный петух оповестил поселок оглушительным страховитым кукуреку. По прииску захлопало, откликнулось перебойным петушьим ором! А последний далекий голос выпел длинно но ватно — от сырости — как-бы похоронно — где-то на высотах Ильменского кряжа.

Книгоиздательство Артели Писателей «КРУГ».

МОСКВА, Покровка, Б. Успенский пер., д. 5, кв. 36, тел. 2–03–81.

Склад изданий — Леонтьевский пер., д. 23, тел. 76–86.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

АЛЬМАНАХ «КРУГ» № 1. *Содержание:* Стихи Б. Пастернака, В. Казина, Н. Асеева, С. Обрадовича, П. Орешина, В. Ильиной. И. Эренбурга. Повести и рассказы:

А. Малышкина — Падение Даира, Евг. Замятина — На куличах, М. Зощенко — Коза, В. Каверина — Пятый странник, Бор. Пильняка — Третья столица, обл. худ. Ю. Анненкова.

АЛЬМАНАХ «КРУГ» № 2. *Содержание:* Стихи Б. Пастернака, П. Незнамова, В. Ильиной, И. Оксенова, В. Василенко, Е. Приходченко. Повести и рассказы: Конст. Федина — Анна Тимофеева, С. Буданцева — Мятеж, Н. Никитина — Ночь, Н. Огнева — Щи Республики, обл. худ. Ю. Анненкова.

ВЕСЕЛЫЙ АЛЬМАНАХ — *Содержание:* Ник. Никитин — Подарок Фатьмы, рассказ; Ив. Лутьин — История одной собаки, рассказ; М. Козырев — Покосная тяжба, эпопея; М. Зощенко — Война, рассказ; Б. Ромашев — Ионово веселье, рассказ; Л. Лунц — Обезьяны идут, пьеса; А. Юрковский — Два правых американских ботинка, рассказ, обл. худ. Л. Бруни.

Вс. Иванов — Седьмой берег, обл. худ. Ю. Анненкова. (Распродано).

А. Аросев — Две повести. (Распродано).

Его же — Белая лестница, кн. рассказов,

обл. худ. Н. Вышеславцева.

Н. Асеев — Избрань, кн. стихов, обл. конструктивиста Родченко.

С. Григорьев — Васса, рассказ.

Его же — Черемуха, повесть, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

Евг. Замятин — Уездное, кн. рассказов, 2-е издание, обл. худ. Кустодиева.

Еф. Зозуля — Книга рассказов, том 1-й, обл. худ. Бор. Ефимова.

Вс. Иванов — Седьмой берег, кн. рассказов, 2-е издание, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

Его же — Голубые пески, роман, с портретом автора, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

В. Ильина — Крылатый приемыш, кн. стихов, обл. худ. Г. Ечеистова.

В. Каверин — Мастера и подмастерья, кн. рассказов, обл. худ. Г. Васильева.

В. Казин — Рабочий май, кн. стихов.

С. Клычков — Домашние песни, кн. стихов.

Н. Лесков — Заячий ремиз, повесть, обл. худ. Л. Бруни.

Н. Ляшко — Железная тишина, кн. рассказов.

О. Мандельштам — Вторая книга сти-

хов.

Вл. Маяковский — Лирика, кн. стихов, обл. худ. Лавинского.

Его же — Сатиры, обл. конструктивиста Родченко.

Его же — Солнце, поэма, обл. и рисунки худ. Ларионова.

В. Нейштадт — Чужая Лира, переводы из одиннадцати немецких поэтов, обл. худ. Г. Ечеистова.

П. Низовой — Черноземье, повесть, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

Ник. Никитин — Бунт, кн. рассказов, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

А. Новиков-Прибой — Подводники, повесть, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

Бор. Пильняк — Никола-на-Посадьях, кн. рассказов, обл. худ. Ю. Анненкова.

Его же — Голый год, роман, 2-е издание.

Его же — Повести о черном хлебе.

Мих. Пришвин — Черный араб, кн. рассказов.

Л. Сейфуллина — Перегной, повести.

С. Семенов — Голод, роман-дневник, обл. худ. Л. Малиновского.

М. Слонимский — Шестой Стрелковый, кн. рассказов, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

А. Соболь — Облóмки, кн. рассказов, обл. худ. Л. Бруни.

Н. Тихонов — Брага, 2-я кн. стихов, обл. худ. Ю. Анненкова.

Конст. Федин — Пустырь, кн. рассказов.

О. Форш — Равви, пьеса.

Ее же — Обыватели, кн. рассказов.

М. Шагинян — Литературный дневник.

А. Ширяевец — Мужикослов, поэма.

Вяч. Шишков — С котомкой, очерки, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

Его же — Тайга, повесть, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

М. Шкапская — Явь, поэма, обл. худ. Л. Бруни.

А. Яковлев — Повольники, кн. рассказов, обл. худ. И. Рерберга.

Н. Ляшко — Нарная чертовщина, острожная сказка, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

А. Зуев — Смута, рассказ, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

А. Воронский — Искусство и жизнь,

сборник статей.

А. Аросев — Две повести, 2-е изд., обл. худ. В. Г. Бехтеева.

А. Перегудов — Лесные рассказы, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

М. Пришвин — Охота и лов на севере, кн. рассказов, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

Альманах — Писатели об искусстве и о себе, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

Лев Зилов — Ворона в трубе, кн. рассказов, обл. худ. Вл. Орлова.

Бор. Пильняк — Английские рассказы.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

Вл. Собко — По ту сторону красного рубежа, мемуары, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

А. Н. Толстой — Рукопись, найденная под кроватью, повести.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

Ник. Никитин — Полет, повесть.

Н. Огнев — Двенадцатый час, кн. рассказов.

Его же — Сатиры, обл. конструктивиста Родченко.

Его же — Солнце, поэма, обл. и рисунки худ. Ларионова.

В. Нейштадт — Чужая Лира, переводы из одиннадцати немецких поэтов, обл. худ. Г. Ечеистова.

П. Низовой — Черноземье, повесть, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

Ник. Никитин — Бунт, кн. рассказов, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

А. Новиков-Прибой — Подво́дники, повесть, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

Бор. Пильняк — Никола-на-Посадьях, кн. рассказов, обл. худ. Ю. Анненкова.

Его же — Голый год, роман, 2-е издание.

Его же — Повести о черном хлебе.

Мих. Пришвин — Черный араб, кн. рассказов.

Л. Сейфуллина — Перегной, повести.

С. Семенов — Голод, роман-дневник, обл. худ. Л. Малиновского.

М. Слонимский — Шестой Стрелковый, кн. рассказов, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

А. Соболь — Обломки, кн. рассказов, обл. худ. Л. Бруни.

Н. Тихонов — Брага, 2-я кн. стихов, обл.

худ. Ю. Анненкова.

Конст. Федин — Пустырь, кн. рассказов.

О. Форш — Равви, пьеса.

Ее же — Обыватели, кн. рассказов.

М. Шагинян — Литературный дневник.

А. Ширяевец — Мужикослов, поэма.

Вяч. Шишков — С котомкой, очерки, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

Его же — Тайга, повесть, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

М. Шкапская — Явь, поэма, обл. худ. Л. Бруни.

А. Яковлев — Повольники, кн. рассказов, обл. худ. И. Рерберга.

Н. Ляшко — Нарная чертовщина, острожная сказка, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

А. Зуев — Смута, рассказ, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

А. Воронский — Искусство и жизнь, сборник статей.

А. Аросев — Две повести, 2-е изд., обл. худ. В. Г. Бехтеева.

А. Перегудов — Лесные рассказы, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

М. Пришвин — Охота и лов на севере, кн. рассказов, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

Альманах — Писатели об искусстве и о себе, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

Лев Зилов — Ворона в трубе, кн. рассказов, обл. худ. Вл. Орлова.

Бор. Пильняк — Английские рассказы.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

Вл. Собко — По ту сторону красного рубежа, мемуары, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

А. Н. Толстой — Рукопись, найденная под кроватью, повести.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

Ник. Никитин — Полет, повесть.

Н. Огнев — Двенадцатый час, кн. рассказов.

ДЕШЕВАЯ БИБЛИОТЕКА КРУГА:

Н. Асеев — Буденный, поэма грозных лет.

Н. Ляшко — Борова мать, рассказ.

Его же — Рассказ о кандалах.

А. Неверов — Новый дом, рассказы.

П. Низовой — Смена, рассказ.

А. Новиков-Прибой — Зуб за зуб, рассказ.

С. Подъячев — Голодающие, рассказ.

Его же — Болящий, рассказ.

А. Сигорский — Плюшевая головка, рассказ.

В. Тамарин — Пустыня, рассказ.

К. Тренев — Вихри, рассказ.

Е. Федоров — Байтас, рассказ.

А. Чапыгин — Наследыш, рассказ.

Его же — Чемер, рассказ.

А. Яковлев — Порыв, рассказ.

А. Глоба — Стенька, сцены в стихах.

Всев. Иванов — Полая арапия, рассказ.

П. Низовой — Крыло птицы, рассказ.

В. Ряховский — По растополью, рассказ.

К. Гренев — Батраки, рассказ.

А. Крутоярский — № 69, 814, рассказ.

К. Федин — Рассказ об одном утре.

Н. Ляшко — Нарная чертовщина, рассказ.

А. Зуев — Смута, рассказ.

М. Волков — Волчьи зубы, рассказы.

К. Онищенко — Сверчок, рассказы (перевод с украинского).

С. Подъячев — Случай с портянками, рассказы.

Ф. Гладков — Волки, рассказ.

В. Дубовской — Большевицкий дождь, пьеса.

* * *